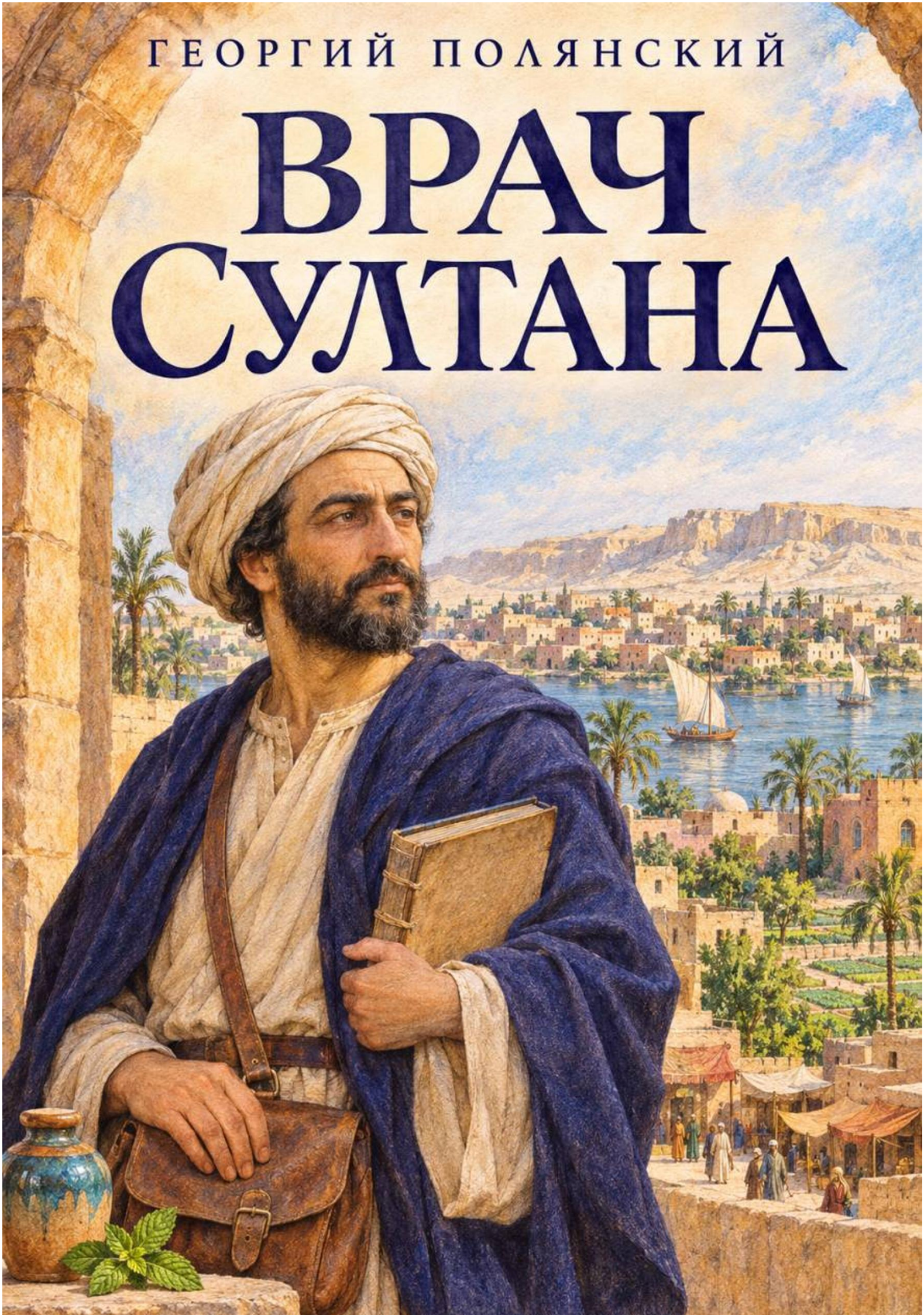
ГЕОРГИЙ ПОЛЯНСКИЙ

ВРАЧ СУЛТАНА



Георгий Полянский

Врач Султана

«Автор»
2026

Полянский Г.

Врач Султана / Г. Полянский — «Автор», 2026

«Врач султана» — исторический роман о Маймониде, еврейском философе и враче XII века. В Фесе Моше бен Маймону пришлось жить как мусульманину и скрывать, что он еврей. Годы спустя в Египте он открыто учит Торе, лечит семью султана Саладина и пишет по-арабски о том, как сохранить веру человеку, привыкшему во всём искать разумное основание. О годах в Фесе Маймонид помнит и страх разоблачения, и доброту людей, принимавших его за единоверца. При дворе он обретает друга, с которым может говорить об этом прямо, — мусульманского визиря Кади. О вере и власти они спорят с редкой при дворе откровенностью. Кади годами искал верные слова для султанских указов. Маймонид знает, как меняется жизнь целой семьи, когда такой указ читают вслух на площади.

© Полянский Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора 5
Пролог 6
Глава 1. Письмо из Адена 8
Глава 2. Кредиторы 16
Глава 3. Фес 24
Глава 4. Дорога в Сеуту 37
Глава 5. Шторм 47
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Георгий Полянский
Врач Султана

От автора

После Маймонида осталось много написанного им самим: письма, ответы общинам, книги о законе, философии и врачевании. По ним можно узнать, как он рассуждал и что считал нужным сказать другим. Но человек, который написал письмо, не мог рассказать всего, что произошло в тот день. Даже самое откровенное его свидетельство оставляет за краем листа тех, кто принёс воду, ждал у двери, не соглашался с ним или не решился возразить.

Есть и другие свидетельства. Каирская гениза сохранила письма купцов, семейные просьбы, счета и обрывки рукописей. Из письма Давида, брата Маймонида, мы узнаём о дороге через пустыню и об ограбленном караване; о последней встрече братьев письмо ничего сказать не может. Арабские авторы записали рассказы о Маймониде как о враче и учёном. Ибн аль-Кифти передал историю обвинения в отступничестве и заступничества аль-Кади аль-Фадиля. Он не оставил протокола суда, который можно было бы восстановить по дням и показаниям. Путешественники и очевидцы описали города, войну, болезни и голод в Египте. Они могли не видеть самого Маймонида, но видели мир, в котором он жил.

К этим свидетельствам прибавились труды историков, филологов и исследователей Каирской генизы. Они читают старые листы заново, уточняют даты, спорят об именах и иногда находят, что привычный рассказ о жизни Маймонида держится на одном позднем сообщении. В этой книге их работа нужна не для того, чтобы заполнить все пробелы. Она помогает различить твёрдую дату, вероятное объяснение и место, где ответа у нас нет. Несколько таких мест и принятые мною решения названы в послесловии.

У этой истории есть и литературные предшественники. Для русскоязычного читателя прежде всего следует назвать «Врача из Кордовы» Эрбера Ле Поррье — роман о Маймониде, написанный по-французски в 1974 году и вышедший в русском переводе Р. Ляндо в 1988-м. Ле Поррье дал слово пожилому Маймониду: тот обращается к ученику и оглядывается на прожитую жизнь. Рассказ ведёт сам мыслитель; события проходят через его память, сомнения и позднее понимание собственных поступков.

В нашей книге жизнь Маймонида собирает после его смерти его сын Авраам. Но и ему не дано услышать все голоса: часть прошлого он узнаёт из листов отца, часть — от матери, друзей и людей, которые помнят отца по-своему. Поэтому рядом с Моше здесь живут аптекарша Сафия, ученик Йосеф, фесский законовед Ибн Муиша, больные и их семьи. Их встречи, медицинские случаи и судебные заседания составляют историю, которую рассказывает этот роман. Путь из Кордовы через Фес в Египет принадлежит биографии Маймонида и останется общим для книг о нём; то, что люди делают и говорят на этом пути, романист сочиняет сам.

Я не знаю, каким голосом настоящий Маймонид говорил с братом у себя дома и что он подумал, когда к нему впервые пришёл больной, которого нельзя было вылечить по книге. Я знаю, что он писал ученикам и общинам, спорил с врачами прошлого и продолжал лечить людей. Между этими известными поступками роман помещает придуманные разговоры и решения. Послесловие указывает, где я отступил от дат и где сцена целиком вымышлена

Пролог

Фустат, Египет. Зима 1205 года



Сундук стоял у северной стены отцовского кабинета с тех пор, как семья переехала в этот дом. Он был из кедра, окованный по углам, и ключ от него Авраам носил на шее уже месяц — с того дня, как отца не стало, — но до сих пор не открывал. Аврааму шёл девятнадцатый год. Он был врачом, как отец, и уже три недели ездил по утрам во дворец в аль-Кахире, к семье правителя Египта. Должность придворного врача перешла к нему по наследству, как переходит лавка или виноградник. Больные спрашивали его о том же, о чём спрашивали отца, и смотрели на него так, будто ждали, что он ответит отцовским голосом. Он отвечал своим: тише, короче и без той уверенности, за которую отца любили. Но сундук он открыть не мог. Он знал, что внутри не книги. Книги отца стояли на полке над столом, переписанные начисто и законченные: толстый свод законов, который переписчики развезли по общинам от Испании до Йемена, книга, над которой ссорились мудрецы, сочинения для султанов о том, как есть и спать. В сундуке лежало то, что отец не закончил и, возможно, не хотел никому показывать.

В тот вечер Авраам всё-таки повернул ключ в замке. Внутри лежали листы. Разного размера, разной бумаги — александрийской, плотной и желтоватой, и дамасской, тонкой, — многие исписаны на обороте чужих писем, некоторые на обрезках аптекарских ярлыков. Почерк был отцовский, но не тот ровный, уверенный почерк, которым написаны книги. Этот был ломкий, торопливый, местами почти нечитаемый, будто рука спешила за мыслью и не успевала.

Сверху лежал лист, исписанный сначала вдоль, а потом, когда место кончилось, поперёк. Авраам поднёс его к лампе и прочёл первые строки:

Кордова. Крыша нашего дома. Мне десять лет. Внизу, на площади, глашатай читает указ новых властителей: каждый еврей города должен выбрать — принять ислам, умереть или уйти. Отец стоит рядом со мной и говорит одно: «Запомни, что видел. Не объясняй. Пока не поймёшь — не объясняй».

Авраам опустил лист на колени. Он знал эту историю — вернее, знал, что она была. Отец родился в Кордове, на юге Испании, в семье судьи. Когда ему было десять, город взяли Альмохады — берберы из-за моря, не терпевшие на своей земле ни христиан, ни иудеев, — и семья бежала. Сыну отец сам рассказал только это. О Фесе, где они жили под чужими именами, Авраам знал то, что услышал мальчиком на суде, когда отец говорил о себе судьям, а не

ему. О годах дорог, о бегстве морем и о том, как погиб дядя Давид, он знал по обрывкам: по чужим разговорам, по молчанию отца. Отец отставлял чашу, если гость за столом произносил «Магриб» — так зовут западные земли за морем.

Отец столько раз говорил при нём «в Кордове», что Авраам давно видел этот город по-своему. Глашатая он до сих пор видел у самых ворот кордовского дома. Тот выкликал указ голосом человека, которого Авраам слышал на фустатском рынке, когда объявляли цену хлеба. Только теперь Авраам заметил: отец пишет, что стоял на крыше. Слышно ли с крыши, далеко ли площадь? Подняться на кровлю своего дома, послушать и спросить потом у отца, так ли было в Кордове, пришло ему в голову лишь в ту ночь, когда спрашивать стало некого. Он потянулся за следующим листом.

Авраам просидел над листами до утра. Потом ещё три ночи. Он стал раскладывать их по годам, оставляя промежутки там, где надеялся расспросить мать или Йосефа. Вот улица в Кордове, на которой он никогда не бывал. Вот имя человека, умершего до его рождения. Чужая жизнь понемногу выступала из отцовской, и для неё на столе приходилось расчищать место. На четвёртое утро Хана застала сына на полу. Он стоял на коленях возле разложенных листов и придерживал один босой ступнёй, чтобы сквозняком не унесло под сундук.

Глава 1. Письмо из Адена

Фустат. Конец лета 1177 года



Фустат — это старый Каир. Новый город, аль-Кахира, с дворцами и цитаделью, которую недавно начал строить султан Салах ад-Дин, лежит к северу. Фустат старше его на три столетия и тянется вдоль Нила, тесный и шумный; в его кривых улицах еврейский квартал упирается в коптский, а коптский — в рынок пряностей. Моше бен Маймон жил в доме у Малых ворот. В то лето ему было тридцать девять. По утрам он первым делом открывал ставни на восток, и когда ветер шёл с рынка, в кабинет вместе со светом входил запах перца.

Перцем пахло и от младшего брата. Давиду было тридцать пять, он жил с женой Саррой и трёхлетней дочерью в отдельном доме на соседней улице и торговал: камни, кораллы, индийский перец. Он ездил в Аден, порт на юге Аравии, где сходились корабли из Индии, и привозил оттуда товар, который в Фустате продавал впятеро дороже. Он был весёлый и лёгкий, купцы и таможенники при нём смеялись, и за десять лет торговли он сделал семью если не богатой, то прочной. Дела братья поделили просто: один зарабатывает, другой пишет. «Ты думай, — говорил Давид. — Один из нас должен думать».

Моше писал. Толкование к Мишне — своду еврейского закона — он начал в двадцать три года и закончил уже здесь. Листы этой работы помнили все города, через которые прошла семья. На фесских осталась копоть масляной лампы: в Фесе семья пять лет жила под чужими именами и выдавала себя за мусульман, потому что при Альмохадах, хозяевах города, иудей мог жить только мусульманином. Листы из Акко, порта в Святой земле, были писаны при свече. В Святой земле умер отец, судья Маймон, не дойдя с сыновьями до Египта. Последние Моше писал при дневном свете, с открытыми ставнями: в Египте, где они жили уже одиннадцать лет, наконец можно было писать не прячась. Днём к нему приходили ученики и люди из общины со спорами о наследстве, разводах и долгах. Ночью он читал Галена, греческого врача древности, по чьим книгам учились все врачи, каких он знал. В Фесе скрытому иудею нельзя было открыто

быть раввином, и там Моше выучился на врача. Денег за лечение он не брал: деньги были Давидова забота.

В том году Давид ушёл в Аден весной, как всегда. В начале лета пришло от него письмо: он закупает товар, море спокойно, скоро он отплывает в Индию, в Мангалор, где перец дешевле, и вернётся к осени. До конца лета других вестей от Давида не было.

Сохранилось и более раннее письмо Давида. Он писал из Айдаба, с африканского берега Красного моря, куда добрался через пустыню. В Кусе, на Ниле, он нанял место в караване, который шёл через горы к морю, и дорогой они с товарищем отбились от остальных. Отважиться на такое, писал Давид брату, мог только человек, не представлявший себе, на что идёт. Писать, что с ними случилось дальше, он не стал. Моше, который знал охоту брата рассказывать дорожные истории, этих нескольких слов, должно быть, хватило.

В Айдабе они успели дойти до ворот и развьючить кладь, когда появился караван. Люди шли ограбленные. Среди них были раненые; несколько человек по дороге умерли от жажды. Оказалось, что двое, все эти дни корившие себя за безрассудство, шли совсем неподалёку от места, где ограбили товарищей. На базаре в Айдабе Давид, по его словам, порой забывал, куда шёл. Всё думал, каково брату в Фустате, если до него дойдёт весть об ограбленном караване. Из товаров, ради которых он проделал такой путь, в городе нашёлся один индиго. На верхнем поле листа Давид приписал, что собирается плыть дальше. После пустыни море казалось ему делом лёгким. Тут же он сообщил брату, кого взял в попутчики.

Последнюю ночь перед отплытием «Аль-Мансура» Давид провёл в Адене без сна. Было так душно, что чернила густели в чернильнице. Он сидел на мешках с перцем в складе у пристани и писал брату при огарке. Товар был куплен, кораллы уложены, на рассвете корабль уходил в Мангалор. От перца у Давида слезились глаза и чесалась шея под ухом, там, где родинка. Он писал быстро, тем же почерком, каким писал счета. Когда с пера сорвалась клякса, он помянул по-арабски шайтана, а по-еврейски — мать торговца, который продал ему такие чернила. Потом засмеялся над собой: брат опять разберёт каждую букву и найдёт в ней ошибку.

Днём он уже оставил у таможенного писца свиток для каравана в Египет. В свитке он обещал Моше подарок и не сказал какой: пусть брат гадает до осени. Ночью Давиду расхотелось ждать. Брат сидит над листами до рассвета и забывает есть, а Сарра зовёт его ужинать и обижается, когда он не приходит. Пусть лучше знает, чего ждёт: кто ждёт подарка, тот бережёт себя, чтобы его дождаться. Думать в семье полагалось брату, но этот счёт Давид сделал сам. Он дописал лист до края.

Про Ривку он написал брату в дневном свитке. Сарра всегда получала от него отдельное письмо и отвечала на каждый вопрос по порядку. Он спрашивал, здорова ли девочка, хорошо ли ест, слушается ли матери, и получал три хороших ответа. Как-то раз Сарра прибавила от себя, что Ривка научилась плеваться косточками. Брат торговца льном показал ей, как надо свернуть язык. Несколько месяцев Давид находил это таким забавным, что за едой всякий раз сворачивал язык и пробовал сам. А когда вернулся, усадил девочку к себе на колени, положил перед ней блюдо вишен и потребовал показать. Ривка уткнулась в мать. Сарра сказала со смехом: «Это когда было! Она и забыла». А ему стало обидно, словно выучили её нарочно без него.

Давид вытер перо. Что бы такое спросить у Сарры, чтобы наутро после возвращения узнать свою дочь? Только спроси, в какую игру играет, и к его приезду она успеет наиграться. В Малаге отец возвращался под вечер, садился на пороге и разувался. Они с Моше утаскивали каждый по сандалии, а отец сидел босой и ждал, что они дальше придумают. Кажется, никогда не спрашивал, чем они там занимались без него. У отца было на них сколько угодно таких вечеров. Давид хотел было приписать брату снизу: когда пойдёшь к Ривке, побудь у них подольше. Моше пойдёт, сядет на пороге, даст девочке обе сандалии, и она покажет ему бог знает что. Давид вывел своё имя в самом углу листа.

Под утро в склад заглянул Халаф, аденский купец-еврей, с которым Давид не первый год вёл дела. Его корабль тоже уходил в Индию с первым светом. Халаф был толстый, весёлый и рассеянный. Тюрбан он повязывал по-индийски, низко на лоб. На аденском рынке говорили, что он однажды продал собственного осла дважды. Давид попросил его отправить письмо в Египет с караваном. Халаф взял лист и сказал: «Конечно, брат мой». Он обещал по дороге к причалу занести письмо шурину: тот на днях отправлял тюки в Египет. Лист он сунул в кожаный мешок со счетами, к расписке за индиго.

Давид посмотрел, как письмо исчезает в мешке, и подумал, что надо бы отдать его таможенному писцу, как первое. Писец брал за письмо полдирхема, половину мелкой серебряной монеты, и писем не терял. Но таможня открывалась позже, чем уходили корабли. Расписки Давид у Халафа не спросил: он и перец отдавал купцам под слово. А Халаф уже стоял в дверях и рассказывал про сына, который родился у него зимой. Давид засмеялся вместе с ним и не стал забирать лист.

Когда Халаф ушёл, Давид собрал свои вещи в узел: два халата, нож, выменянный когда-то на корабле, мешочек фиг. К третьей неделе плавания фиги кончаются у всех, и тогда матросы покупают их по одной. Он вышел на пристань. Моря Давид не боялся: лоцманы обещали ровный ветер до самой Индии. Над водой светлело, «Аль-Мансур» стоял у дальнего причала, и с его борта кричали, что пора. Давид поднялся по сходням последним и бросил узел на палубу у мачты.



Весть из Адена принёс в Фустат купец по имени Абу-ль-Фарадж. Он вёл дела с Давидом много лет и за всё это время ни разу не переступил порога дома у Малых ворот — Давид всегда ходил к нему сам, в контору у рынка. Поэтому, когда Моше увидел его в воротах, он понял, что Давид погиб, раньше, чем купец открыл рот. Купец не вошёл во двор. Он остановился снаружи,

за створкой, и ждал, чтобы его позвали. Так ведёт себя человек, который принёс дурную весть и хочет, чтобы хозяин сам сделал первый шаг ей навстречу. Моше позвал его во двор.

Купец протянул ему свиток, перевязанный бечёвкой с печатью аденской таможни, и сказал, глядя в сторону, что корабль назывался «Аль-Мансур». Корабль вышел из Адена в Индию и в Мангалор не пришёл. Кроме Давида на борту было сорок три человека, и ни одного не нашли. Прошло три месяца. Таможня известила вкладчиков.

Вкладчики — это было важное слово, и Моше услышал его, но не понял. Давид не возил только свой товар. Восемь купцов в Фустате и трое в Александрии доверили ему деньги, чтобы он купил на них камни и перец, а прибыль разделил. Эти деньги теперь лежали на дне Индийского океана вместе с Давидом, и вкладчики пойдут за ними к тому, кто остался от семьи. То есть к Моше. Но в ту минуту Моше спросил купца о другом: какого числа вышел корабль. Купец назвал день, по-прежнему глядя в сторону.

— В этот день я принимал роды у жены красильщика, — сказал Моше.

Он сам не знал, зачем сказал это купцу. Купец впервые посмотрел ему в лицо, как смотрят на человека, у которого вот-вот подогнутся ноги, поклонился и ушёл. Моше остался стоять в воротах со свитком в руке.

Он был врач и знал, что делает с телом горе, потому что видел это у других. Он видел, как у женщины, потерявшей ребёнка, в один день пропадает молоко, будто тело получило приказ. Он видел, как старик, похоронивший жену, за месяц ослеп, хотя глаза у него были чистые. Гален, чьи книги Моше переписывал ещё в Фесе, учил, что страсти души — страх, гнев, скорбь — суть движения внутренней теплоты. От сильной скорби теплота уходит от поверхности тела внутрь, к сердцу, и там гаснет. Моше был согласен с Галеном, когда читал его. Теперь он узнал, что Гален прав только наполовину. Теплота не уходит внутрь. Она уходит совсем.

Он не помнил, как лёг в постель. Помнил, что сел с краю, чтобы прочесть письмо при свете, и что свет был вечерний, из западного окна. Потом свет был утренний, из восточного, а он лежал на спине, и над ним стояла дочь Давида, Ривка, и держала его за палец. За стеной кто-то ходил взад и вперёд, и по шагам он узнал Сарру: она пришла с дочерью со своей улицы. Он подумал, что надо встать и найти, кто накормит девочку. Потом подумал, что Сарра её уже накормила, иначе бы Ривка плакала. Потом перестал думать обо всём.

Пришли врачи. Моше их не звал. Их привёл тот же купец. Как выяснилось потом, он два дня просидел во дворе у Моше: он считал себя обязанным Давиду за десять лет честной торговли и не хотел, чтобы брат Давида умер в одиночестве. Врачей было двое, оба из еврейского квартала, оба почтенные люди, и оба делали то, чему их учили. Первый носил ланцеты в кожаном чехле и раскрывал чехол, ещё не поздоровавшись. Он пустил кровь из локтевой вены: при избытке чёрной желчи — а скорбь, по учению Галена, и есть избыток чёрной желчи — жилу следует отворять, чтобы вывести дурной сок. Второй велел положить на лоб холодные примочки и сам закрыл ставни на восток, потому что свет, по его словам, возбуждает мозг.

Моше слышал, как первый говорит второму, что нужно отворить ещё и вену под языком, поскольку скорбь — болезнь сердца, а сердце к языку ближе, чем к локтю. Это было неверно. Вену под языком отворяют при болезнях горла. Чёрная желчь, по Галену, копится в селезёнке, и при тоске отворяют селезёночную вену — на левой кисти, между мизинцем и безымянным пальцем. Но на кисти вена тонкая и вздувается, только если руку подержать в горячей воде, а врачи у постели режут на локте, где вену видно сразу. Моше хотел сказать это врачам и не сказал. Ему было всё равно, откуда они пустят кровь.

После второго кровопускания стало холодно. Он лежал под тремя одеялами в фустатском августе, когда на улице воздух стоит как в бане, и зубы у него стучали. Первый врач сказал, что это хорошо: холод означает, что чёрная желчь выходит. Моше знал другое: крови стало меньше, и если её пустят ещё раз, он может не согреться. Под одеялом он нашёл пальцами

правой руки своё левое запястье и по привычке стал считать, как у больного: два удара, пауза, удар. Такого сбоя он у себя не знал. Пальцы, которыми он считал, были белые и не попадали на жилу с первого раза. Второй врач, тот, что закрыл ставни, поднёс лампу к его лицу и сказал первому, что губы посинели. Моше попробовал сказать врачам о крови, но губы и язык не слушались, а когда слушались, выходил не тот звук.



В жару человек видит не выдумки. Он видит то, что было и о чём он годами запрещал себе думать. Горячка снимает этот запрет. Моше увидел ночь ухода из Кордовы.

Это было двадцать девять лет назад, в 1148 году, — Моше было десять лет. Альмохады пришли из Атласских гор за проливом с проповедью чистой веры и брали один за другим города мусульманской Испании. При прежних властителях в Кордове стояли синагоги и еврейские врачи лечили эмиров. Указ Альмохадов Моше слушал с крыши, держась за отцовский рукав. Глашатай на площади читал медленно, потому что площадь молчала: иноверцам отныне на этой земле места нет. Кто хочет остаться — пусть примет ислам. Кто не хочет — пусть уходит. Кто не сделает ни того, ни другого — умрёт.

Судья Маймон, отец Моше, решил уходить из Кордовы. Младшему сыну, Давиду, было шесть. Мать умерла несколько лет назад — Моше почти не помнил её. Выходили ночью, через Севильские ворота. В ту ночь их сторожил человек, которому Маймон когда-то вынес справедливое решение в споре о наследстве, и этот человек добра не забыл. У них был один мул. На муле ехал не Давид — Давид спал у Моше на плечах, — а ящик с книгами. Отец шёл рядом с мулом, положив руку на ящик, как кладут руку на плечо ребёнка.

У ворот, на крюке, где в мирное время вешают фонарь, висел человек. Моше его знал: это был Ибн Сахль, торговец шёлком, живший через два дома от них. В прошлую субботу Ибн Сахль приходил к отцу спросить, можно ли произнести вслух чужое исповедание веры, если в сердце не верить в него. Отец ответил ему так, как отвечал всем спрашивающим: открыл Талмуд и показал нужное место. Что было написано в том месте, Моше не знал. Ибн Сахль ушёл домой, а через неделю его повесили, потому что он отказался произнести исповедание.

Отец не смотрел на крюк. Он смотрел на дорогу. И сказал тихо, не поворачивая головы, то же, что днём сказал сыну на крыше:

— Запомни, что видел. Не объясняй. Пока не поймёшь — не объясняй.

Моше запомнил слова отца. Что отец имел в виду, он понял только теперь, почти тридцать лет спустя, в горячке. А дальше, уже за воротами, их догнал другой сосед — Абу Бакр, носивший прежде еврейское имя Барух. Шесть дней назад он пошёл в мечеть и произнёс исповедание веры, которого требовали Альмохады, и потому был жив. Теперь он бежал за ними в темноте с фонарём, спотыкаясь. Он шептал, что на дороге к Севилье застава и идти надо на Альмерию, через горы. Он отдавал им своего осла, а вернуть осла можно будет потом через его зятя в Малаге. Абу Бакр торопился и боялся, фонарь трясся у него в руке, и в этом свете Моше видел лицо соседа. Лицо было растерянное, как у человека, который ещё не решил, спас он себя или предал. Отец взял осла и сказал: «Да воздастся тебе». За осла или за мечеть — не уточнил, и Абу Бакр не спросил.

В десять лет Моше не посмел бы спросить отца. Теперь, в горячке, под тремя одеялами, он спросил — так громко, что второй врач, оставленный сидеть при нём, вскочил со скамьи:

— Где Бог? Если он видит всё, то он видел крюк. Если он видел крюк и ничего не сделал, то он или не всё видит, или ему всё равно. Где он был, отец?

Отец, которого Моше видел в жару, не ответил сыну. Он и тогда, у ворот, не ответил. Он только поправил руку на ящике с книгами.

Моше очнулся на четвёртый день. Первое, что он увидел, был потолок. Первая мысль, ещё до Давида, была: вопрос задан неправильно.

Среди листов в сундуке Авраам нашёл потом запись, сделанную, судя по почерку, вскоре после болезни. Вот она:

Я лежал и смотрел на потолок, и голова была пуста и легка, как вычищенный сосуд. Если на вопрос нет ответа — не в том смысле, что ответ труден, а в том, что ответа нет и быть не может, что все, кто пытался, пришли либо к Богу, который не видит, либо к Богу, которому всё равно, либо к Богу, который так хотел, — то неправилен не ответ. Неправилен вопрос. В нём есть слово, которое означает не то, что я думаю. Может быть, слово «видит». Может быть, слово «где». Может быть, слово «Бог» — и это самая страшная из возможностей, потому что я не знаю, чем его заменить.

Я перебирал слова, как перебирают инструменты в сумке, ища тот, что подойдёт к ране. И впервые за четыре дня мне не было холодно.

В то утро он знал только, что ему не холодно, что он хочет пить и что свиток из Адена лежит на полу у постели, куда он выронил его четыре дня назад и куда никто не посмел за ним потянуться. Потом он вспомнил о Давиде, и холод вернулся — но уже не весь. Между ним и холодом теперь стояла работа: вопрос, который надо переставить, слово, которое надо найти. Пока голова была занята этим, холод не доставал до сердца.

Он попросил у врача пить. Врач обрадовался и побежал за водой. Моше остался один, поднял свиток с пола и впервые дочитал его до конца. Давид писал, что всё хорошо, что товар куплен, что Индийское море в этом сезоне спокойно, и что боится он не моря, а брата: что тот опять не ест, пока пишет. Писал, чтобы Моше поцеловал за него дочку. Писал, что везёт ему подарок и не скажет какой. Ниже, другими чернилами, рукой аденского писца: «Корабль "Аль-Мансур" вышел из Адена такого-то числа и в порт Мангалора не прибыл. Вкладчики извещены».

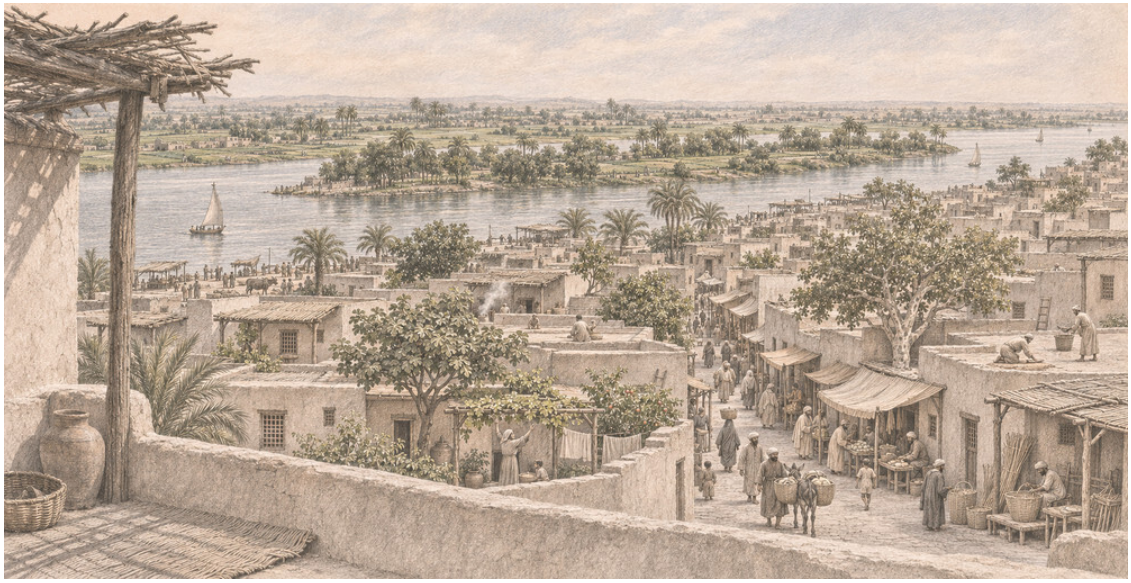
Вкладчики. Теперь Моше понял это слово. Он знал их всех по именам и знал, у кого из них дочь на выданье. Их деньги утонули вместе с его братом, и завтра — или через неделю, когда узнают, что он очнулся, — они придут к нему, потому что он — всё, что осталось от

Давида. Он подумал о кредиторах без страха. После двух кровопусканий у него не было сил бояться.

Надо было встать с постели: отдавать долги лёжа нельзя. Встать на ноги он смог только через неделю. Но эту неделю он уже не лежал лицом к стене: он считал. Восемь имён, три имени, цена камней, цена перца, сколько стоит дом у Малых ворот.

Глава 2. Кредиторы

Фустат. Сентябрь 1177 года



Первым пришёл торговец тканями из еврейского квартала. Его лавка стояла через ряд от конторы компаньона Давида — того купца, что принёс весть из Адена. Он пришёл на седьмой день после того, как Моше очнулся, и выбрал час после утренней молитвы, когда по обычаю навещают больных. Он принёс кувшин гранатового сока, сел на скамью у постели, спросил о здоровье и выслушал ответ, а пальцы его тем временем щупали край одеяла, как щупают на прилавке чужую шерсть. Только потом он сказал, зачем пришёл. У Давида лежало сто двадцать его динаров: на коралл, который Давид должен был купить в Адене и перепродать в Александрии. Коралл утонул. Деньги утонули. Торговец сказал, что не торопит Моше. Но у него дочь на выданье, свадьба назначена на зиму, и приданое он копил из этих ста двадцати динаров.

Моше ответил ему, что помнит о долге, и это было правдой. В ту неделю, что он лежал после горячки, он перебрал в уме всех вкладчиков брата и сложил их деньги, загибая под одеялом пальцы. Выходило четыреста восемьдесят динаров в Фустате и ещё двести в Александрии. Динар — золотая монета весом примерно с финик без косточки; на один динар семья ремесленника живёт месяц. Шестьсот восемьдесят динаров — почти вся цена дома у Малых ворот, со двором и колодцем. Книги Моше в счёт не брал: их он продавать не собирался.

Вторым пришёл меняла, у которого Давид менял индийское серебро на египетское золото. Он один не принёс гостинца.

— Гостинец я принесу, когда получу своё, — сказал он. — А получу я своё вот-вот. Я это чую, как чую на ладони динар с подпиленным краем.

Деньги, которых он ещё не получил, он уже обещал в караван до Дамаска. Он рассказал Моше, сколько наживёт на дамасской парче, и так и не спросил, когда Моше сможет платить. С порога он пообещал зайти через три дня: к тому времени деньги, без сомнения, будут. Через три дня он зашёл, денег не было, и он ушёл таким же довольным, назначив новый срок.

Третьим пришёл аптекарь Ибн Шаприт. У него Моше брал травы для больных и с ним по вечерам спорил о Галене, по чьим книгам до сих пор учат врачевание. Ибн Шаприт путал собственные банки, мог отвесить мяту из банки с надписью «шалфей» и первым над этим смеялся. Он был Моше почти другом и потому мялся дольше всех, прежде чем назвать свои сорок динаров. За неделю пришли все восемь. Никто не кричал, все спрашивали о здоровье и

говорили, что не торопят. К концу недели Моше понял, что в еврейском квартале Фустата уже решено: он заплатит. Спорили только о том, чем и когда.



Пока приходили кредиторы, в дом переезжала вдова Давида. Сарре было двадцать шесть лет, она была дочерью александрийского купца, торговавшего льном. Давид женился на ней пять лет назад, когда впервые привёз из Адена хороший жемчуг и смог содержать семью. До гибели мужа она жила с дочерью в отдельном доме на соседней улице. Давид снимал этот дом, потому что считал, что брату нужна тишина для книг. Теперь платить за него было нечем.

Сарра перевезла к ним два сундука, ковёр, медный таз и дочь. Трёхлетняя Ривка ходила по двору и трогала всё подряд: колодец, ступку, стопки бумаги на столе у дяди. Когда дядя выходил во двор, она брала его за палец и водила к колодцу, как хозяйка водит гостя. Сарра не плакала при Моше ни разу. Она молча взяла на себя кухню, стирку и ту часть дома, где раньше хозяйничала наёмная служанка; служанку рассчитали в день переезда. По ночам Моше слышал через стену, как Сарра ходит по комнате.

В первый вечер Моше застал Сарру во дворе над раскрытым сундуком. Ривка спала в доме. Сарра по одному доставала халаты Давида, встряхивала и подавала Моше. Лучший, полосатый, он сложил на коленях. Отец Сарры подарил его Давиду к свадьбе. Другой, полотняный, с надставленным рукавом, Моше чуть не положил в кучу тряпья для перевязок.

— Этот дай мне, — сказала Сарра.

— На что он тебе? У Давида и то рука в него не лезла.

— Левая. Я сама заузила. Он велел.

Моше сунул левую руку в рукав. Четыре пальца показались наружу, большой застрял.

— Дай сюда, а то порвёшь. — Сарра высвободила его палец. — Помнишь, у Давида пояс украли?

— Ещё бы. Мы шли в Малагу. На ночлеге он сунул кошель под зад, а пояс бросил рядом. Утром кошель есть, пояса нет. Идёт ко мне и держит штаны. «Моше, у тебя верёвочки не найдётся?» Даже тогда ему стыдно было разбудить отца.

— Погоди. А коза когда пришла?

— Какая коза?

— Та, что пояс сжевала. У нас коза жевала пояс с другого конца, пока вор тащил его к себе. А по пятницам Давид ещё судью звал разбирать дело. Мне хлеб допечь надо, а Ривка так и лезет к печи. Судья у него вечно застревал рогами в дверях.

— Судья с рогами?

— Давид забывал убрать пальцы. Ривка ему кричала: «Ты ещё коза!» Вон, посмотри, где я зашила.

На локте остался косой шов. Сарра продела руку снизу, из-под полы, так что в узком рукаве очутился кулак. Рукав ткнулся Моше в грудь и пошарил у него под мышкой.

— Кошель ищет, — сказала она. — Ривка уж и глаза зажмурит, и дышать перестанет, а всё просит ещё раз украсть. Я ему из кухни говорю: «Оставь ты её, она сейчас уснёт». А он мне шепчет...

Сарра вынула руку, закрыла сундук и расправила халат на крышке. Моше потянул его к себе.

— Завтра я ей покажу. Судья-то как ходил?

— Очень медленно. Твой отец, говорил Давид, ходил так, когда на него смотрели.

Сарра показала на нижний крюк у двери. Моше повесил халат за ворот.



На другой день Сарра вынула из сундука медную чашку Ривки. Дно у неё покривилось ещё в Александрии. Девочкой Сарра пила из неё молоко, прижимая донышко пальцем, чтобы чашка не опрокинулась. Теперь, стоило поставить её на стол, Ривка сама прикладывала пальчик к краю. В отцовском доме нашлись бы ещё три такие вещи, которые подходили девочке как раз по руке. Сарре вдруг захотелось вернуться туда так сильно, что она расплакалась над чашкой. При Моше она бы в жизнь себе этого не позволила. Отец примет их обеих, он по Ривке соскучился. И кто говорит, что вдове надлежит сидеть в долгах покойного мужа, когда у неё есть куда поехать?

Она хорошо помнила, как отец навещал их после свадьбы. Хотел купить для молодых ковёр и привёл торговца с тремя коврами на выбор. Сарра ещё не успела развернуть меньший, а отец уж заплатил за большой. На тёмном дольше не видно грязи, объяснил он. Протяни руку — и у Сарры до сих пор под пальцами то место на маленьком ковре, где был выткан жёлтый петух с одной длинной ногой. Отец увидел, что она его гладит. «Когда заведёшь девочку, — сказал, — ей и купим с петухом». С добрым-то человеком как спорить? В Александрии отец оставит ей ключ от кладовой, позволит сколько угодно тратить на дочь. А когда придёт время самой Ривке выбирать ковёр, они вдвоём с отцом уже развернут для неё один, большой, прежде чем девочка переступит порог. Ривка, пожалуй, тут же сядет на этот большой ковёр с ногами и обрадуется. Сарре странно было подумать, что и она сама любила свой тёмный ковёр. Давид на нём учил девочку ходить. Расставит руки и ждёт у одного края, а Ривка топчется у другого и смеётся над ним. Так и простоит, пока он не переползёт к ней на четвереньках. Этого отцу в Александрии уже не покажешь, хоть привези ему весь ковёр.

Она налила в чашку молока и позвала Ривку. Та выпила стоя, оставила над верхней губой белую полоску и опять умчалась во двор. «Ещё молока?» — крикнула ей Сарра. «Дяде неси!» — отозвалась та от самого колодца. В кувшине ещё плеснулось молоко. Сарра вылила остаток в чашку, вытерла лицо и пошла к Моше.

На третий вечер после переезда она пришла к нему в кабинет. Моше показал ей на скамью. Сарра осталась стоять у двери и сказала:

— Отец зовёт меня обратно в Александрию. С Ривкой. Он напишет, что берёт нас на содержание, и у тебя станет на два рта меньше.

— Это не мои долги, — сказал Моше. — Это долги Давида. Ты его жена.

— Я его вдова. Вдова не отвечает за вклады мужа, ты знаешь это лучше меня. Отвечает тот, кто принял наследство. Ты принял.

Он принял. Книги, дом, товар на складе — всё, что осталось от Давида, было записано на старшего брата. Так велел отец перед смертью в Святой земле, и Моше не оспаривал его волю. Сарра знала закон о наследстве, потому что в доме её отца о долгах и договорах говорили чаще, чем о Боге. Но Моше знал и другой закон, о товариществе, и о нём Сарра промолчала. Если деньги отданы купцу в оборот и товар утонул, убыток несёт вкладчик, и с наследника купца никто не взыщет ни динара. Наследство Моше принял, но долга в нём по закону не было. Он мог сказать это Сарре сейчас и выиграть спор одной фразой. Он не сказал: тогда ту же фразу пришлось бы сказать и торговцу тканями, у которого дочь на выданье. Торговец, меняла и остальные отдавали деньги не договору, а имени: Давид был сыном судьи Маймона, и этому имени в Фустате верили. Моше решил вернуть им всё — не по закону, а по чести.

— Ты останешься здесь, — сказал Моше. — Ты и Ривка. Это дом Давида. Он покупал его не для того, чтобы его продали за коралл.

— Чем ты будешь платить?

Моше не ответил ей. Он не знал, чем.

Ответ принёс Зута. Он был главой евреев Египта — не раввином, а тем, кого называют нагидом, князем. Нагид отвечает перед султаном за всех евреев страны, собирает с них подушную подать и ставит судей в общинах. Должность не передавалась по наследству, но Зута держал её уже восемь лет. Когда Салах ад-Дин взял власть в Египте и сверг прежнюю династию, Зута заплатил новому двору и получил утверждение. Он был плотный, с мягкими руками. Он пришёл не утром, как кредиторы, а вечером, после того как заперли ворота квартала. Он пришёл не с гостинцем, а с писцом.

— Я пришёл помочь, — сказал он так тихо, что Моше пришлось наклониться к нему. — Община не может смотреть, как учёный человек разоряется из-за чужого несчастья.

Он кивнул писцу. Писец развернул лист, написанный заранее, и прочёл его громко, как читают в собрании:

«*Святая община Фустата покупает у Моше бен Маймона дом у Малых ворот за четыреста динаров. Моше с семьёй брата живёт в доме жильцом; плату за наём из уважения к учёному община берёт с него через год. Долг Давида бен Маймона сверх цены дома община платит вкладчикам сама и записывает за Моше как заём. Заём Моше отрабатывает судьёй общины при нагиде; жалованье судьи идёт в счёт долга*».

Зута пояснил, опять вполголоса: судья при нём разбирает тяжбы и ставит свою печать под решениями нагида, и через десять лет Моше не будет должен никому, кроме общины за наём своего бывшего дома. Моше заметил, что сидит, подавшись к нагиду, и выпрямился. Писец ждал с пером наготове.

Моше слушал и понимал каждое слово. Четыреста динаров за дом у Малых ворот — половина цены. Печать судьи под решением нагида значила, что за это решение перед Богом и общиной отвечает судья, а не нагид. Зута решил заполучить такого судью в тот самый день, когда компаньон Давида принёс свиток из Адена, и выждал, пока кредиторы сделают за него работу. И ещё Моше понимал, что по счёту Зута прав. Никто в квартале не даст в долг шестьсот восемьдесят динаров человеку, который не торгует и не берёт денег за лечение. Другого покупателя на дом за неделю не найти, а торговцу тканями приданое для дочери нужно к зиме.

— Я подумаю, — сказал Моше.

— Думай, — сказал Зута. — Но помни, что кредиторы думают быстрее.

Когда Зута ушёл, Моше просидел в кабинете до полуночи, не зажигая второй лампы. Потом лёг. И горячка, которая, как он считал, отпустила его, вернулась: не жаром, а полусном, в котором он видел прошлое как наяву.

Он увидел дорогу. После Кордовы они шли на юг и на восток: Альмерия, потом Малага, потом опять Альмерия, потом города поменьше, названий которых Моше уже не помнил. Это тянулось больше десяти лет. Альмохады брали Андалусию не сразу, а город за городом, и семья Маймон перебиралась туда, куда альмохады ещё не дошли, а когда доходили — дальше. В каждом городе отец находил комнату, ставил к её стене ящик с книгами и, проходя мимо, клал на ящик руку, как на плечо ребёнка. Потом он искал работу писца или учителя и место в тайной молельне. В каждом городе Моше и Давид выучивали имена соседей, чтобы через год их забыть.

Днём учиться было нельзя. Еврейский мальчик с книгой на коленях — это донос, а донос — это выбор между мечетью и крюком у ворот. Поэтому отец учил сыновей ночью, на крыше, где не было стен и никто не мог подслушать. Он учил их Писанию по памяти, без книги, учил счёту. И он учил их звёздам, показывая на небо. Вот Полярная: она стоит на месте, по ней находят север, а по семи звёздам Медведицы находят её саму. Вот Арктур: он восходит весной, когда пора сеять, и заходит осенью, когда пора собирать. Вот Сириус, самый яркий: он восходит перед рассветом в самую жару, и когда его видно, Нил в Египте выходит из берегов. Так писали в книгах, которые отец читал в Кордове и помнил наизусть.

Моше спросил его однажды, зачем им Нил. Отец ответил: чтобы знать, что мир больше, чем эта крыша. Звездочётами сыновей он делать не собирался. Он давал им то, что они унесут в любой город без мула и без ящика: имена звёзд и стороны света. С тех пор в каждом новом доме — в Альмерии, в Малаге, потом в Фесе — Моше в первый же вечер поднимался на крышу и находил Полярную. Имя соседа он узнавал наутро.

И ещё одну ночь он увидел: в Малаге, на второй год скитаний. У хозяина дома, где они снимали комнату, заболела мать. Хозяин был мусульманин, мелкий торговец маслом, и мать его была стара. Она слегла с жаром, перестала есть и на четвёртый день перестала узнавать сына. Хозяин позвал врача. Врач посмотрел на язык и мочу, пустил старухе кровь и велел давать горькое питьё, от которого её рвало. Назавтра старухе стало хуже. Врач пришёл снова и пустил кровь ещё раз. Хозяин заплатил ему два дирхема и заплакал в сенях, потому что мать не вставала.

Отец Моше слышал всё это через стену. Вечером он постучал к хозяину и сказал, что немного знает врачевание. В Кордове судья обязан был разбираться в ранах и увечьях, чтобы судить о них, и Маймон читал Галена по должности. Хозяин махнул рукой: делай что хочешь. Отец вошёл к старухе и первым делом открыл ставни. Потом велел принести куриный бульон, тёплый и несолёный, и поил её с ложки, по глотку, целый час. Потом велел всем выйти и не входить до утра. Никакого горького питья, никакой крови, никаких трав. Только бульон, свет и сон. Моше, двенадцатилетний, спросил отца: а лекарство?

— Лекарство — это когда тело не справляется само, — сказал отец. — Она справится. Ей мешали.

Старуха проспала сутки. Потом попросила есть. Через неделю она сидела во дворе и бранила невестку. Хозяин не взял с Маймонов платы за комнату до конца года, а того врача больше не звал.

Моше запомнил не выздоровление. Он запомнил слово «мешали». Врач, пустивший старухе кровь, не был злодеем: он делал то, чему его учили, и делал добросовестно. Отец верил в другое: тело знает, что делать, если его накормить, дать ему свет и оставить в покое.

Двадцать семь лет спустя, в Фустате, Моше лежал под тремя одеялами с двумя дырками в вене. Над ним стояли два добросовестных врача, которые считали, что без них он не справится.

Он проснулся до рассвета, сел на постели и нащупал ногами пол. Голова кружилась, но держалась. Он нашёл пальцами пульс на запястье и сосчитал: два удара, пауза, удар. Этой паузы до горячки не было. Врачи, услышь они её, отворили бы кровь в третий раз, и Моше убрал пальцы с запястья. Он дошёл до кабинета, открыл ставни, зажёг лампу и взял чистый лист. Перо в руке дрожало; он положил руку на стол и подождал, пока пальцы успокоятся. Зуте он писать не стал. Он написал два письма.

Первое — отцу Сарры в Александрию. Приданое Сарры тот выплачивал в рассрочку, как принято у александрийских купцов, и Моше писал:

«Вдова и дочь Давида остаются в его доме в Фустате, и содержания из Александрии им не нужно. Нужно другое. Сто динаров приданого, что ты дал на свадьбе, Давид держал в обороте, и они ушли на дно вместе с ним. Двести, что ты должен дать к десятой годовщине брака, ещё у тебя. Если Сарра согласится, отдай их не ей, а трём вкладчикам Давида в Александрии: ты знаешь их по рынку. Тогда долг Давида в Александрии будет закрыт, а Сарра и Ривка останутся в Фустате».

Закон позволял жене распорядиться приданым так, и отец Сарры знал закон не хуже дочери.

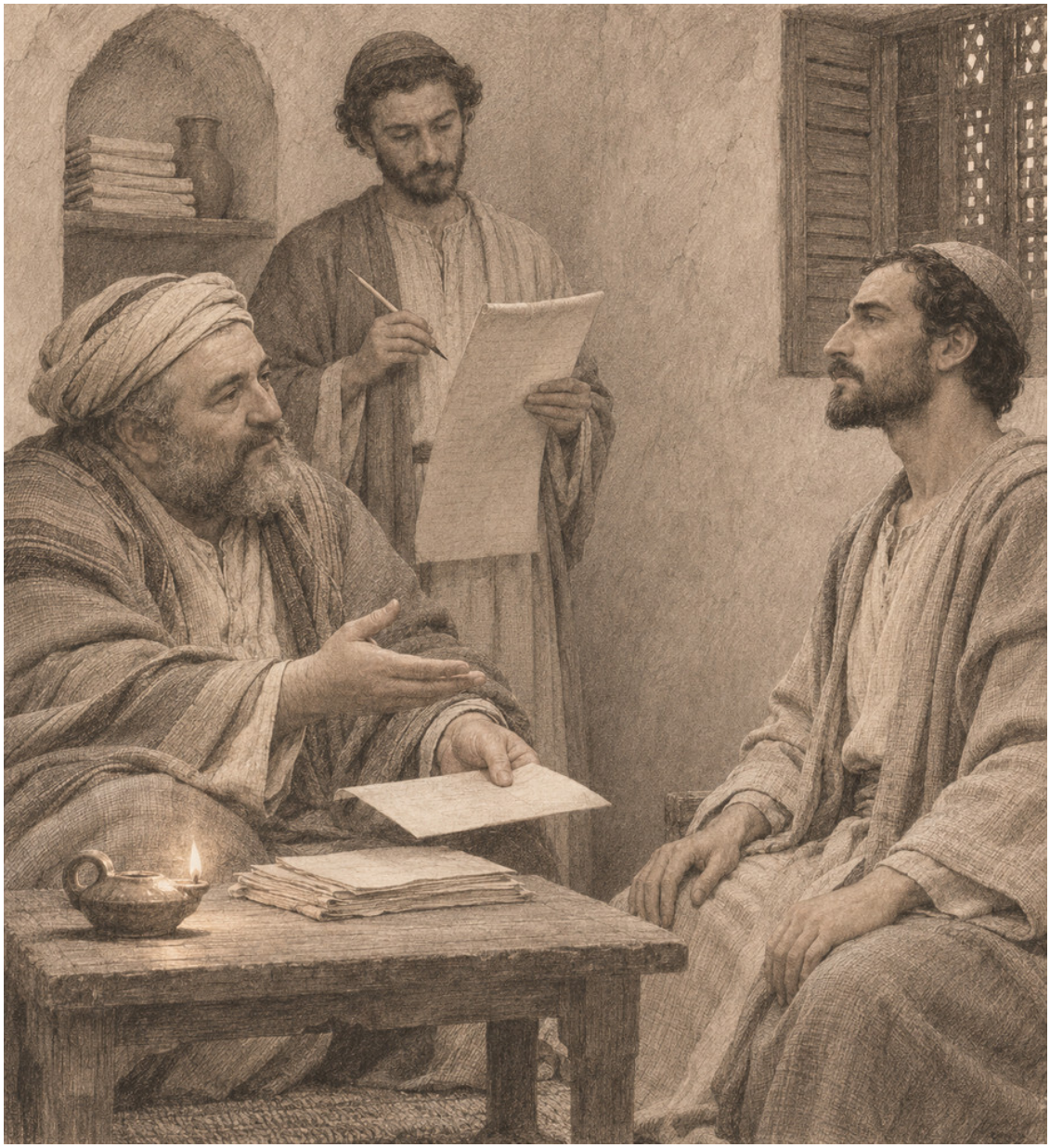
Второе — Ибн Шаприту, аптекарю, которому Давид остался должен сорок динаров. Моше просил у него не денег и не отсрочки. Он просил сказать в квартале, что сын судьи Маймона, учившийся врачеванию в Фесе, берёт больных. Плату больной назначает сам. С бедных Моше платы не берёт.

Когда он запечатал второе письмо, во двор вошли врачи. Они пришли в обычный час, с ланцетами в кожаном чехле и с горшком для крови. Первый, увидев Моше за столом, обрадовался: больной встал, значит, чёрная желчь выходит, значит, надо отворить кровь ещё раз, чтобы вышла вся. Моше поблагодарил врачей за труды, заплатил им, что причиталось, и попросил больше не приходить. Врачи переглянулись, собрали чехол и горшок и ушли, не споря: в квартале знали, что сын судьи упрям. Сарра стояла в дверях кухни и смотрела, как они уходят. Моше рассказал ей о письме в Александрию и спросил, согласна ли она отдать приданое за долги мужа.

— Отдай, — сказала она, не выходя из дверей. — А здесь чем ты будешь платить?

— Руками, — сказал Моше. — Как Давид.

Она ничего не ответила ему и ушла на кухню. Но к вечеру того дня у Малых ворот стоял первый больной: носильщик с рынка, у которого третью неделю не заживала рана на голени.



Глава 3. Фес

Фустат. Октябрь 1177 года



За первый месяц у Малых ворот побывало тридцать больных. Носильщик с раной на голени приходил каждый третий день, и к концу второй недели рана закрылась. Моше промывал её вином, накладывал мёд и запретил носильщику стягивать ногу грязной тряпкой, как тот делал раньше. Потом пришла жена красильщика, у которой Моше принимал роды в день, когда корабль Давида вышел из Адена: у её ребёнка был понос. Потом пришёл её сосед, потом сосед соседа.

Больные платили Моше кто чем мог. Красильщик принёс отрез синего полотна. Носильщик взялся отнести на рынок три тюка перца, оставшиеся от Давида на складе во дворе. Третий тюк он вскинул на голову, чтобы показать, что нога зажила, и у ворот споткнулся о порог. Тюк лопнул. Перец рассыпался по двору, и весь двор чихал: носильщик, Ривка, коза соседа и сам Моше. Сарра стояла на пороге с метлой и смеялась так, что выронила метлу. Это был первый раз, когда она засмеялась после вести из Адена. Ночью Моше слышал из-за стены, как она плачет, и не вошёл к ней. Наутро он продал все три тюка, вместе с подметённым перцем, за двадцать динаров и в тот же день отнёс деньги торговцу тканями, который копил приданое дочери, в счёт долга в сто двадцать динаров. Деньги были невелики. Но по кварталу пошёл слух, и он был нужнее денег: сын судьи Маймона берёт больных и не пускает им кровь.

Сам он был ещё слаб. По утрам, вставая, он держался за стену; к вечеру у него темнело в глазах, и он садился на пол, чтобы не упасть при больном. Сердце после горячки билось с перебоями: два удара, пауза, удар. Гален описывает такой пульс у людей, ослабленных кровопотерей, и пишет, что он проходит, если больной ест мясо, спит и не поднимает тяжестей. Мяса в доме не было, а спать Моше не мог.

Сафия, вдова аптекаря, заперла лавку снадобий у Малых ворот, когда в квартале кончили вечернюю молитву. Лавка стояла в трёх домах от двора Моше; муж Сафии умер два года назад, и всякая вдова на её месте продала бы лавку и вернулась к родне. Сафия стала торговать сама. Ставни она закладывала тоже сама, брусом снизу и брусом сверху, как делал муж. Потом зажгла светильник над прилавком и достала из ящика мужнин список трав. Двадцать лет он вписывал туда травы: египетское название, рядом греческое, рядом цену. Почерк у него

был мелкий, буквы клонились влево, будто от ветра. Последняя запись была не о траве, а о болезни: о камне в почке, его собственном. Против неё муж написал «пить много воды», и на этом список кончался. Через неделю лекарь с Большой улицы пустил ему кровь, а через три дня Сафия обмыла его и отдала мужчинам из мечети.

Боярышник она нашла на третьей странице. Против него стояло: «сердце, сбитое кровопусканием; с пустырником и мёдом; две недели». Сафия провела пальцем по строке. Палец оставил на бумаге зелёную пыль: она весь день перебирала мяту.

Днём у прилавка две соседки говорили о еврее. Он сын судьи из Андалусии и лечит у Малых ворот, у себя во дворе. Брат его утонул в Индийском море с чужими деньгами. Сам он едва не умер от горячки, ему дважды пускали кровь, и теперь он ходит по двору, держась за стену. Жена ткача сказала, что евреи пускают кровь своим, чтобы те не ушли к мусульманским лекарям. Жена горшечника засмеялась и сказала, что тогда евреи глупее, чем говорят. Сафия отвешивала им анис и слушала вполуха. Обе купили по горсти и ушли.

Она помнила его руку. Неделю назад еврей пришёл за мёдом для ран и, пока она взвешивала, держался за косяк. Пальцы на косяке побелели. Губы были синие. Он заплатил, поблагодарил и пошёл к себе, медленно, как ходят по палубе в качку. Её муж так ходил в последний месяц. Сафия тогда сказала себе, что это не её дело. Еврей — сосед, а не родня. Вдова-мусульманка, которая носит горшки в еврейский дом, даст соседкам разговор на всю зиму.

Она достала из мешка боярышник, сухие тёмно-красные ягоды, и, не глядя, растёрла одну в пальцах: сухая, без плесени. Потом отмерила горсть. Потом пустырник. Потом поставила на угли медный котелок с водой. Пока вода грелась, она сказала себе, зачем это делает. Носильщик с рынка показывал всему кварталу зажившую голень: еврей не дал ему мазать рану помётом. Если еврей встанет на ноги, к нему пойдут больные. Больным нужны травы. Если он будет посылать их за травами к ней, а не на Большую улицу, лавка проживёт ещё десять лет. Счёт сходился, и Сафия, снимая котелок с огня, пересчитала его ещё раз: больные, травы, десять лет.

Отвар настаивался до ночи. Сафия сидела на низкой скамье у прилавка и, чтобы не задремать, отсчитывала про себя: раз, два, раз, два. Так в последние ночи она держала мужа за запястье и считала, ровно ли бьётся у него сердце. Теперь счёт сбивался сам: раз, два, пауза, раз. Еврея она за руку не держала и не могла знать, как бьётся его сердце. Она знала только синие губы и побелевшие пальцы на косяке. Сафия поймала себя на том, что считает за него, встала и пошла проверить брус на ставнях, хотя закладывала его сама.

Она процедила отвар через полотно в глиняный горшок, добавила две ложки мёда и попробовала с деревянной ложки. Было горько, как надо. Горшок она обвязала чистой тряпкой и поставила у двери, чтобы утром не забыть. Утром идти было нельзя: утром у еврея больные, и соседки увидят. Днём, в час, когда больные расходятся, а соседки спят, можно.

Сафия задула светильник. Список мужа она положила не в ящик, а под подушку, на которой спала в задней комнате.

Отвар для сердца принесла Моше женщина, которую он до этого видел только за прилавком: Сафия из лавки снадобий. Моше покупал у неё мёд и вино для промывания ран. Ей было около сорока. Она была мусульманка, бездетная, и соседки покупали у неё травы, но к себе в гости её не звали. Она пришла днём, когда больных не было, и поставила на стол глиняный горшок, закрытый тряпкой.

— Это для тебя, не для больных, — сказала она. — Отвар из боярышника и пустырника с мёдом. Пей по три глотка утром и три вечером, две недели. Мой муж давал его тем, у кого после кровопускания сбивалось сердце.

Моше спросил её, откуда она знает про его сердце.

— Ты покупал у меня мёд и держался за косяк, пока я взвешивала, — сказала Сафия. — У тебя синие губы. Лекарь с Большой улицы велел носильщику мазать рану голубиным

помётом, и она гноилась месяц. Ты велел её не трогать, и она зажила. Человек, который лечит так, не даст пустить себе кровь в третий раз. Значит, ему нужно другое лекарство.

Она говорила быстро, как отвешивают товар, и смотрела на его руки. Денег с Моше она не взяла. Сказала, что возьмёт плату потом, когда Моше станет посылать больных за травами к ней, а не на Большую улицу. Тамошнего хозяина учил её муж, и хозяин до сих пор путает тмин с анисом. Моше пил отвар две недели. Пульс выровнялся на девятый день.



Призыв к полуденной молитве в Фустате слышен отовсюду. Мечеть Амра, старейшая в Египте, стоит на холме над кварталом, и муэдзин кричит с минарета в сторону Нила. Моше слышал этот призыв одиннадцать лет, пять раз в день, и не замечал его, как не замечают шум воды. В ту пятницу он услышал его. Он стоял во дворе и промывал рану мальчику, укушенному

собакой. Когда муэдзин затянул «Аллаху акбар», у Моше дрогнула рука, и вино пролилось мимо раны. Мальчик вскрикнул. Моше извинился перед ним, закончил перевязку, отослал его домой и сел на ступеньку, потому что ноги его не держали.

Это был не жар: жар кончился. Это была память о Фесе, о пятницах в большой мечети Карауин. Двенадцать лет он не думал о Фесе ни днём, ни ночью; он запретил себе думать о нём, как запрещают больному вино. После горячки и двух кровопусканий, после месяца без сна сил на запрет не осталось. Он сидел на ступеньке и видел Фес так же ясно, как мальчика с перевязанной рукой, уходившего в ворота.

В первый вечер в Фесе Давид ушёл за водой и вернулся с пустым кувшином. Вода в этом городе журчала даже за стеной дома, который они сняли. Он прошёл на звук два поворота, потом ещё один, обогнул мельницу и увидел на пороге собственного дома тюк, перетянутый кордовской верёвкой. За тюком сидел на корточках Моше и развязывал узел.

— Я за водой шёл всё под гору. Как же я опять у нашей двери? — спросил Давид.

— Ты за шумом шёл, — сказал Моше. — Покажи, где.

Моше взял второй кувшин, и они пошли вместе. У ближайшего водостока кто-то мыл шерсть. Ниже вода была бурая, от неё пахло мокрой овцой. Выше по улице к стене были прислонены три кувшина, из-за стены доносились женские голоса. Братья поставили свои кувшины в ряд с остальными. Когда подошла их очередь, Давид подставил под струю ладонь и долго пил из неё, хотя на камне стояла привязанная за ручку кружка.

В Фесе приезжий слышал воду гораздо чаще, чем видел. Река шла между двумя склонами. Ещё до того, как дома спустились к ней с обеих сторон и стали одним городом, каждый берег жил за собственной стеной. На правом берегу осели люди из Андалусии, на левом — переселенцы из Кайруана, лежавшего далеко к востоку от Феса. В былое время, отправляясь к родичам за реку, можно было засидеться за ужином и найти свои ворота запертыми. Потом правитель велел снести стены, разделявшие два города. Воду отвели в рукава, поставили мельницы, устроили бани. Почти столетие прошло. От старого раздела остались названия берегов, и по этим именам всякий в Фесе мог сказать, откуда родом его соседи, даже если ни они, ни деды их никогда не переплывали моря.

Для Маймона с сыновьями это имело одно неожиданное неудобство. Стоило им сказать «мы из Андалусии», как им показывали дорогу через реку; приходилось прибавлять, что прибыли они недавно и сняли дом на кайруанском берегу. Хозяйка дома однажды осведомилась у отца, как добраться в Кордове до улицы, где у неё жила бабка. Она назвала торговца кожами, потом мастера, который чинил вьючные сёдла. Маймон обоих не знал. Бабка перебралась в Фес вскоре после свадьбы, а хозяйка рассуждала о соседях так, точно утром получила от них весточку. К вечеру она принесла Маймону маленький медный таз с помятым краем. Из этого таза, сказала она, бабка в Кордове умывалась перед свадьбой. Тут Маймон мог помочь: узор вокруг донца он помнил, его делали у них и при его отце. Женщина оставила таз у них на ужин, чтобы сыновья тоже посмотрели. Вернуть велела непременно сегодня, ей надо было замочить в нём нут.

К 1160 году, когда они сюда пришли, Фес уже дважды за жизнь одного старика успел переменить государей. Марракеш, где сидел повелитель Альмохадов, был далеко на юге. В Фесе, однако, даже во время молитвы можно было положить руку на вещь, сделанную по слову прежнего государя. В большой мечети на кайруанском берегу пятничный проповедник поднимался на деревянную кафедру. К ней вели восемь ступеней. Над первой ступенью подковой выгибалась арка. По её краю шли попеременно чёрное дерево и слоновая кость. Каждый кусочек мастера вырезали чуть шире по наружному краю, чтобы он лёг к соседнему без просвета.



Говорили, кафедру заказали кордовским мастерам. У кордовца, которому случилось бы ступить в мечеть, нашлась бы причина задержаться у нижней ступени. Любопытно было бы взглянуть на стык чёрного дерева с костью: каким резцом его так чисто прошли? Моше за все годы, что ходил туда по пятницам, ни разу не подошёл так близко. Он видел, как вслед за проповедником задирали головы люди впереди и как в одно мгновение вся резьба пропадала за чужими затылками. Слова пятничной молитвы Моше скоро выучил. Труднее было держать руки при себе. Даже стоя позади отца, он видел, как тот, старый человек, бережёт больное колено, и не смел подвести руку ему под локоть прежде, чем нагнутся все.

У людей, которые правили теперь Фесом, было имя, в котором Маймону не к чему было придраться. По-арабски оно значило «исповедующие единство Бога». Учитель их, Ибн Тумарт, сам вышел из берберских гор и говорил с горцами об этих вещах на их родном языке. Всякий мальчик, который слушал по субботам Маймона, назвал бы единство Бога первой истиной, какой его учили дома. Даже трудность, которая тут возникала у мальчика, была знакома учёному мусульманину. В Писании говорится о руке Божьей. У руки есть длина; где-то она должна начинаться, где-то кончаться. Ребёнок, спросивший, какой же длины эта рука, превосходно понял слова, которым его научили. Отцу приходилось объяснять сначала.

Из берберских гор учение спустилось в города вместе с войском. В Кордове десятилетний Моше слушал глашатая с крыши своего дома. Пока внизу читали указ, отец стоял рядом с ним. Здесь, в Фесе, веру тоже полагалось исповедовать на людях. Произнося слова о едином Боге, Муса должен был сказать и то, что Мухаммад — Его посланник. Рядом стояли люди, которые могли потом засвидетельствовать каждое слово.

За морем в те годы ходили стихи о том, что Феса больше нет. Их сочинил еврей из Андалусии, Авраам ибн Эзра. Когда пришли вести о разорённых общинах, он жил уже по ту сторону Пиренеев. Он вспоминал города по одному. В Кордове учёные умерли от жажды и голода. В Севилье погибли отцы, сыновей увели, дочерей заставили переменить веру. В плаче возвращалось одно слово. На иврите это слово звучит «маим», вода. Найти его было нетрудно: в Писании довольно мест и про слёзы, и про кровь, которая льётся, как вода. Труднее представить себе, что делал человек, пропев эти строфы, когда к нему садился ужинать гость именно из того

города, по которому он только что плакал. Для гостя там оставались сестра, мельник, задолжавший ему за поклажу, и больной мальчик, которого он надеялся застать живым. Особенно трудно должно было приходиться гостю, если он хотел спросить, нет ли в доме ещё хлеба.

В плаче сказано, что еврейскую общину Феса разграбили. Семья Маймона добралась до города позже. С кем из оставшихся здесь можно было заговорить, приходилось узнавать понемногу. Однажды перед субботой Маймон привёл из бани старика в пёстрой шерстяной накидке. Тот попросил дать ему послушать недельное чтение. Он заранее предупредил, что сам за давностью лет почти всё перезабыл. Маймон читал негромко, время от времени промачивая горло. Старик положил на скатерть два пальца и на каждой остановке отца пододвигал их вперёд. На одном слове пальцы застыли. Маймон повторил слово с другим ударением. Старик кивнул и снова двинул пальцами по скатерти. Когда стали убирать со стола, он отозвал Давида к двери и попросил проводить его в следующий раз пораньше: с темнотой он плохо различал выбоины. В бане, если они там встретятся, можно было просто поздороваться.

До бань, как оказалось, от их дома было ближе всего в обход мельницы. Падение воды там заглушало оклик даже с нескольких шагов. Давид, провожая старика, научился брать его за руку перед поворотом. В первый раз он так громко крикнул ему в ухо, что старик остановился и сказал с обидой, что у него, слава Богу, одни только глаза плохи.

Сыновья спрашивали отца ещё в дороге, зачем он идёт в большой город тех самых людей, от которых они столько лет уходили. Маймон говорил, что в Фесе легче затеряться среди земляков и что при мечети Карауин Моше сможет достать книги по медицине. После первого же похода за водой сыновья вернулись и застали отца сидящим на полу возле развязанного тюка. Одна сандалия лежала у него на колене. Ремни на другой затянулись, а нагнуться к ним он уже не мог. Давид сел на корточки и разул отца.

На улице Моше отзывался на имя Муса ибн Маймун. Давида звали Даудом, отца — Маймуном аль-Куртуби, Маймуном из Кордовы. В пятницу они втроём ходили в Карауин. Отцовское колено Моше потом узнавал на слух: перед тем как коснуться лбом циновки, отец всякий раз набирал воздух сквозь зубы.

По субботам, когда город работал, они сидели дома, затворив ставни, и отец читал вполголоса недельную главу Писания, которую помнил наизусть. Если в дверь стучали, он замолкал. Еду готовили так, чтобы со двора не было видно, что в котле. Хлеб на субботу покупали в пятницу, вдвое больше обычного, и не у соседей, а у берберов: бербер-торговец не спрашивал, зачем андалусцу столько хлеба. За пять лет в тайной общине умерли двое. Их хоронили ночью, на мусульманском кладбище, под мусульманскими именами, и отец читал над ними поминальную молитву одними губами. Так жили в Фесе около сотни семей. Они знали друг друга и не здоровались на улице.

Моше было двадцать два года. В книгохранилище при Карауине, куда мусульманина Мусу пускали без вопросов, лежали Гиппократ и Гален, греки, и Ибн Сина и ар-Рази, врачи Персии, писавшие по-арабски. Все книги были переписаны набело, с полями для заметок. Он сидел там с утра до полуденной молитвы, потом шёл на молитву, потом возвращался к книгам до вечера. За три года он переписал Галена почти целиком: шестнадцать книг, мелким почерком, в тетради, которые держал под половицей. Врачеванию он выучился не потому, что хотел быть врачом. Закон Моисеев скрытый иудей изучать не мог: книга Закона на столе — готовый донос на хозяина дома. Печень и селезёнку изучать было можно, они у мусульманина и у иудея одинаковые. Медицина была единственной наукой, которой Муса ибн Маймун мог заниматься при открытых дверях.

Там же, в книгохранилище, он встретил Абу-ль-Араба ибн Муишу. Тот был на пять лет старше Моше и уже вёл в Карауине свою халку. Так называли учебный кружок: ученики садились на циновки кольцом вокруг учителя у одной из колонн, а «халка» по-арабски и значит

«кольцо». Ибн Муиша преподавал фикх — исламское право, науку о том, что дозволено и что запрещено, расписанную на все случаи жизни, от наследства до омовения. Он был из старой фесской семьи, гордившейся берберским родом, носил белую одежду и говорил тихо. В боковом покое он сидел через два стола от Моше и однажды спросил, что тот переписывает. Моше показал ему Галена. Ибн Муиша посмотрел на тетрадь, потом на почерк, потом на Моше и спросил, где тот выучился писать так ровно. Моше ответил, что отец был писцом в Кордове. Это была половина правды: отец был судьёй, а судья пишет много.

С того дня Ибн Муиша стал звать его к себе. Не в халку при мечети — домой, на внутренний двор с фонтаном, где по вечерам собирались молодые учёные города. Они спорили о праве, о грамматике и о старом вопросе богословов: сотворён ли Коран во времени или существовал вечно, как сам Бог. Моше ходил туда год. Он редко вступал в спор, но когда вступал, остальные замолкали и слушали его. Он знал Аристотеля лучше их. В ящике с книгами, который семья везла на муле из Кордовы, лежали толкования аль-Фараби, багдадского философа, объяснившего арабам греческую логику. Моше читал их с четырнадцати лет.

В один из первых вечеров Моше задержался у фонтана помочь хозяину собрать листы. На циновке осталось письмо, которое Ибн Муиша давал гостям прочесть. В подписи буквы теснились одна к другой, хотя писавшему оставалась целая строка.

— Вот этому в детстве по пальцам доставалось, — сказал Ибн Муиша. — Видишь, до своей подписи дошёл и зажал перо? Сам так писал. Отец стоял у меня за спиной с прутом. А твой куда целил, по пальцам или по ладони?

— Бумагу убирал.

— А тебя?

— Иди, говорил, и купи на свои другую. А у меня какие свои? Мне восемь лет. Приходилось подбирать обрезки у него под столом. На таком клочке буквы поневоле потеснишь. Может, и он с обрезков начинал?

— Он пишет ко мне из дома, где чернила слуга разводит, — возразил Ибн Муиша. — Я у него ел. Ему и в голову не придёт поднять что-нибудь с пола.

— А в восемь лет ты у него ел?

Ибн Муиша снова посмотрел на подпись, отщипнул корочку от лепёшки. Моше ждал, пока он прожуёт.

— Твой отец тебя ни разу не бил?

— За письмо ни разу. А тебя хоть научил этот прут?

— Прятать пальцы. Раз я руку отдёрнул, а он прутом по чернильнице. Чернила затекли мне под колени. Я в бане колени тру, банщик льёт мне воду, а с ног всё чёрное бежит. Отец велел мне купить новую чернильницу на шнурке, с крышечкой. Целую зиму таскал её за поясом. Спать лягу — она под боком.

— И в баню брал?

— Там я и за штаны-то боялся, как бы кто в них не ушёл. Сверну их, чернильницу внутрь и брату даю подержать. А он мне однажды финиковую косточку поперёк горлышка втиснул. Дома я глаз с отца не спускаю, макаю вслепую, пишу — одна борозда. Отец уже встал, посмотреть идёт...

— А ты пальцы под мышку?

— Поздно. Он взял моё перо. «Смотри, как надо». Макнул, провёл по бумаге — тоже ни следа. Брат у меня за спиной вдруг закашлялся. Отец оглянулся на него, а я тем временем косточку подцепил ногтем и вынул.

У калитки стукнул засов. Моше встал.

— А у твоего отца хоть прут в доме был? — спросил Ибн Муиша.

— Был. Мы им ставню подпирали. Дай письмо, а то ты на нём поужинал.

Ибн Муиша поднял лист и сдул с подписи хлебные крошки. В следующий раз за ужином он молча снял крышку со своей чернильницы и подвинул её к Моше. Поперёк горлышка торчала финиковая косточка.

В другой вечер, когда гости разошлись, Ибн Муиша задержал Моше у фонтана. Спорили в тот вечер о том, что существует вечно. Один гость сказал: чтец умирает, а слова Писания останутся. Моше спросил его, куда же девается голос чтеца, когда он умолкает. Гость на это ничего не ответил.

— Голос и вправду исчез, — сказал теперь Ибн Муиша. — Да разве о голосе он говорил? Я помню стихи, которым меня маленького выучила мать. Ты их от меня вчера слышал. Голос у моей матери был повыше.

— Но ведь из этого ещё не следует, что стихи были всегда, — сказал Моше.

— Конечно. Только это тебе следовало ему сказать. А ты опроверг то, чего он не говорил. Легко тебе с нами пришлось.

— Почему же ты при нём промолчал? — спросил Моше.

— А чтобы ему захотелось завтра опять прийти. Ты после хорошего ответа приходишь, а он — когда унесёт домой хороший вопрос. Ты сам придумал спросить про голос?

Моше сказал, что про голос придумал сам, а об этом различии читал у аль-Фараби. Ибн Муиша попросил как-нибудь принести книгу. Он начал подбирать с циновки чаши, одну подал гостю и сказал:

— Из тебя выйдет законовед лучше меня. Ты видишь, как устроен довод. Садись в мою халку. Через пять лет будешь судьёй.

Моше поблагодарил его и сказал, что подумает над предложением. Сказать Ибн Муише «нет» он не мог: за «нет» следует вопрос «почему», а правдивого ответа на «почему» не было. Сказать «да» он тоже не мог. В халке законоведа урок начинают с Корана и с исповедания веры, и каждый день там пришлось бы вслух подтверждать то, во что он не верил. Он сказал «подумаю» и думал год. Каждый вечер у фонтана Ибн Муиша смотрел на него как на лучшего ученика, которого встретил в жизни. И каждый вечер Моше помнил: по закону, который преподаёт Ибн Муиша, мусульманин, тайно исповедующий иную веру, — отступник, и отступнику полагается смерть. Узнав правду, этот человек выдал бы его судье не из злобы, а по закону, который любил.

За тот год Моше научился говорить правду, ничего не утверждая. Когда его спрашивали, молится ли он, он отвечал: «Я не пропускаю ни одной пятницы», — и это была правда. Когда спрашивали о Коране, он говорил о том, что в Коране согласно с Аристотелем, и это была правда. Когда спрашивали, верит ли он, он отвечал: «Я не из тех, кто не верит». И это была правда: он верил, только не в то, о чём спрашивали. Из таких ответов у него сложилась привычка говорить о себе не «я тот-то», а «я не тот-то». Так он отвечал все пять лет, до отъезда из Феса. По дороге к дому Ибн Муиши он заранее перебирал вопросы, которые там могли задать, и к каждому готовил ответ, в котором не было лжи.



В тот вечер, когда андалусец ответил ему «подумаю», Ибн Муиша долго не ложился. Гости разошлись, слуга унёс светильники, во дворе остался гореть один, у фонтана. Фонтан был старый, ещё отцовский: каменная чаша в восемь лепестков и медная трубка, из которой вода падала тонкой струёй. Осенью в водостоки набивались листья смоковницы. Слуге Ибн

Муиша их чистить не позволял. Он засучил рукава, опустился на колени у края чаши и стал выбирать листья пальцами, по одному.

«Подумаю» говорят купцы, когда цена не нравится, и юноши, когда им сватают некрасивую невесту. Андалусец сказал это вежливо, глядя прямо, и поблагодарил. Ибн Муиша, как всегда, когда слушал, наклонил голову и ждал второго слова. Второго слова не было. Он звал в свою халку многих. Одни соглашались сразу и потом сидели на циновке, как мешки с зерном. Другие отказывались, потому что отец велел торговать. Этот не согласился и не отказался.

Листья были мокрые и липли к пальцам. Ибн Муиша складывал их на камень рядом с собой ровной кучкой.

Он перебирал ответы андалусца, как перебирал на уроке показания свидетелей. Когда гости спорили о Коране, Муса говорил об Аристотеле, и все слушали. Ибн Муиша слушал тоже и только теперь заметил, что о самом Коране андалусец не сказал ни слова. По пятницам Муса стоял в Карауине, Ибн Муиша сам его видел, но стоял в задних рядах. В задних рядах стоят те, кто пришёл поздно, и те, кто не хочет, чтобы на них смотрели. Из таких ответов судья не составил бы ни свидетельства, ни обвинения: в них не было ни лжи, ни признания. Ибн Муиша взял из водостока последний лист и долго держал его. Мысль, которую он гнал, была проста: так отвечают люди, которым есть что прятать.

Он прогнал её снова. В Фесе живут сотни андалусцев, пришедших с севера, и все они осторожны. Альмохады пришли в Андалусию с мечом, и там научились молчать и мусульмане, и те, кто стал мусульманином недавно. Осторожность — не грех. Закон судит человека по сказанному и сделанному, а что у него в сердце, судит Аллах. Ибн Муиша сам каждую осень объяснял это правило новым ученикам в халке.

Его жена умерла три года назад, зимой, от грудной болезни. Два сына умерли до неё, младенцами, оба в первый месяц. Дом после неё остался тихий, и по вечерам Ибн Муиша зазывал в него молодых учёных, чтобы во дворе был шум. Шум был, но сына в нём не было. Через два года в этот двор пришёл андалусец, который писал по-арабски ровнее, чем учитель, и видел устройство довода с первого раза. Кем этот юноша стал для него, Ибн Муиша не называл даже про себя. Вместо имени у него был довод: если Муса сядет в его халку, через пять лет Фес получит судью, который не берёт подарков. Довод годился для халки: в нём была польза для города и не было ничего о самом Ибн Муише. Он повторил довод дважды, вытирая мокрые пальцы о полу белого кафтана.

Вода пошла по водостоку свободно. Ибн Муиша поднялся, держась за край чаши, и подождал, пока отойдут ноги, затёкшие на холодном камне. Потом сгрёб мокрые листья в ладонь и отнёс их за калитку, на улицу, чтобы утром их унёс мусорщик.

И ещё одно случилось с Моше в Фесе, о чём он потом не говорил ни с кем, даже с Давидом. На второй год там отец женил его. Девушку звали Рахель, дочь Шломо, переписчика из тайной общины; ей было семнадцать. Свадьбу играли ночью, без музыки, при закрытых ставнях, с десятью мужчинами, которые пришли поодиночке и ушли поодиночке. Десять мужчин нужны по закону, чтобы брак был заключён перед общиной.

Рахель переехала к ним в дом под именем Раджия.



В соседнем дворе летом выдавали замуж девушку, и Рахель ждала этой свадьбы едва ли не с большей охотой, чем собственной. Стена была общая. Сдвинь кадку с закваской, подставь скамью, и с самого утра будешь видеть, кого привели наряжать невесту и кому досталось тереть хну. Высовываться, разумеется, нельзя. Да ей и не надо было смотреть. Рахель умела перенимать голоса; в отцовском доме, случалось, старик Шломо среди бела дня отпирал уличную дверь, потому что расслышал, как его кличет возчик, а возчику этому было семнадцать лет и не нашлось у него с утра иного дела, как морочить отца, пока на листе подсыхают чернила. К вечеру она узнала бы и по голосам, чем кончилось дело. Сама она сидела на своей свадьбе тихо, на губах засохло вино, а облизать губы казалось неприлично. Как это выходило у других девушек, что стоило им выйти замуж, и вечером того же дня, когда к ним заглядывали подруги, они уже говорили «мой муж» совершенно естественно, будто с этим умением родились?

Моше принёс ей от соседей миску каши с изюмом. Невестина мать просила передать: слышно на всю улицу, как молодая хозяйка поёт у себя за работой; нынче у них осипла певица, и не выручит ли хозяйка соседей? Три женщины в доме знают слова, да ни одна не может взять высоко. Сам он эту песню знал, в Фесе её распевали и дети. Рахель дождалась, когда он уйдёт со двора, и попробовала вполголоса. Ничего особенного в этих верхних нотах не было. Именно оттого, что ничего особенного, ей и сделалось страшно: сейчас скажет соседкам, что нездорова, а через год, когда в доме напротив кто-нибудь соберётся замуж, уж и звать её никуда не станут. Моше ведь, если выйдет посидеть с учёными у фонтана, возвращается оттуда совсем другим человеком, ещё долго спорит с кем-то, когда умывается перед сном. Ей нравилось слушать, каков он там, среди чужих. Вот бы ему хоть раз довелось послушать, какая бывает она.

Она не стала обходить дом, окликнула соседку через стену. Её сейчас же узнали: «Раджия, голубушка, затяни ты отсюда, мы тебя подхватим». Удобнее было бы пойти к ним. Из-за стены потребовали петь громче, а сами так били в ладоши, что она дважды пропустила, где вступать. Туда бы к ним, в круг: там довольно посмотреть на женщину, которая хлопает невпопад; а через стену что сделаешь? Она встала на скамью, запела и сама же на второй строке велела громким голосом: «Дайте мне одной допеть куплет!» За стеной послушались. На последней ноте незнакомый женский голос снизу отозвался тихо-тихо; вот кого напрасно не

решились поставить выводить песню. Рахель перегнулась через стену. Невеста сидела, протянув вперёд обе руки, чтобы не смазать на пальцах хну, и пела, чуть раскрыв рот. Рахель опустилась на скамью, подхватила её голос и дальше пела потише. А вечером Моше взялся спеть ей всю песню со словами. Рахель вступила на припеве, и он тут же потребовал её голосом: «Дайте мне одной допеть куплет!» Так точно, со всеми её повадками, передразнил её человек в первый раз.

Моше был с ней женат одиннадцать месяцев. Повитуху звать было нельзя: повитуха увидела бы, что в доме живут не по-мусульмански, и сказала бы об этом соседкам. Роды принимал Моше. Ему было двадцать четыре года, он переписал большую часть Галена и ни разу не видел, как рожают. Ребёнок шёл ногами. Моше знал из книг, что делать при таких родах, и сделал: повернул ребёнка, вытянул его, перевязал пуповину. Ребёнок родился мёртвым.

На третий день у Рахели начался жар. Моше поил её тем, что велел Гален, и пустил ей кровь, как велел Гален при родильной горячке. Она умерла на рассвете пятого дня. Её похоронили ночью под именем Раджия. Отец сказал ему: ты сделал что мог. Моше ответил: я сделал что знал, а это не одно и то же.

Недавно, в Фустате, когда он лежал под одеялами и два врача пускали ему кровь по Галену, он вспоминал Рахель, которой пустил кровь по Галену сам.

Муэдзин давно замолчал. Моше поднялся со ступеньки. Во дворе стояла Сарра с кувшином и смотрела на него.

— Ты сидел четверть часа и шевелил губами, — сказала она. — Я не стала подходить к тебе.

— Я считал, сколько должен меняле, — сказал Моше.

Он пошёл в кабинет и достал тетрадь, в которой вёл запись больных. На чистой странице сзади, там, где никто не стал бы искать, он написал два имени: Рахель бат Шломо, Фес, 1162. И ниже: Давид бен Маймон, Индийское море, 1177. Больше он ничего не написал. Он закрыл тетрадь, убрал её в ящик и вышел к следующему больному, который уже стучал в ворота.

Глава 4. Дорога в Сеуту

Фустат. Ноябрь 1177 года



Зута пришёл во второй раз через месяц после первого, в тот же час, когда ворота квартала уже заперли, и с тем же писцом. Он сел на ту же скамью у стены и не притронулся к воде, которую ему подали. Писец стоял за ним с доской для письма.

— Кредиторы ждали, пока ты встанешь, — сказал Зута громко, так, чтобы писец успевал. — Ты встал. Теперь они ждут денег. Торговец тканями выдаёт дочь через шесть недель.

— Я знаю, — сказал Моше.

— Меняла знает тоже. Он говорит, что пойдёт к мусульманскому судье. Еврейский суд в Фустате — это я, а я, по его словам, тебя жалею. Если он пойдёт к судье, тот опишет дом и продаст его с торгов.

Моше молчал.

— Я предлагал тебе за дом четыреста динаров, — сказал Зута. — Теперь предлагаю триста пятьдесят, потому что через шесть недель дом не будет стоить ничего.

Моше ответил ему счётом. Он достал из рукава лист, на котором с осени вёл долги брата, и прочёл его вслух, медленно, чтобы писец успел записать:

> Александрия, три вкладчика — 200. Закрыто: отец Сарры выплатил им приданое.

> Фустат — 480.

> Аптекарю Ибн Шаприту — 40. Отдано всё, что за осень заплатили больные.

> Торговцу тканями — 20. Отдано тремя тюками перца.

> Через два месяца будет ещё 100. На остальное прошу у кредиторов год.

На строке про сорок динаров Моше вспомнил, как Ибн Шаприт ссыпал их в банку из-под камфары, перепутав банки, и сам над собой смеялся. Зута этому не улыбнулся бы. Моше дочитал лист, не поднимая глаз.

— Года у тебя нет, — сказал Зута. — У тебя есть шесть недель и я.

Он встал, подошёл к Моше и заговорил тише, так тихо, что писец за его спиной не мог расслышать, а Моше пришлось наклониться к нему:

— И ещё у тебя есть прошлое, Муса ибн Маймун. В квартале живут люди из Магриба. Они помнят Фес и помнят, кто там ходил в мечеть. Пока я нагид, они молчат, потому что я велел им молчать. Если ты не со мной, мне незачем велеть им молчать.

Моше заметил, что стоит, наклонившись к Зуте, как ученик к учителю, и выпрямился. Зута назвал его арабским именем. Так Моше звали в Фесе, где он пять лет выдавал себя за мусульманина. В Фустате за одиннадцать лет этого имени не произнёс никто.

Моше не дал Зуте ответа в тот вечер. Он сказал, что ответит через три дня. Зута кивнул и ушёл довольный. Моше понимал, как тот прочёл его просьбу: три дня просит человек, который сдаётся и хочет сохранить лицо. Сам он знал, что такое три дня. Ему уже давали три дня на ответ однажды, в Фесе, двенадцать лет назад, и давал их судья.

В Фесе казнили на площади перед мечетью Карауин, после пятничной молитвы, когда народу больше всего. Казнили за разбой, за убийство и за отступничество. Отступник — это человек, который считался мусульманином и оказался не мусульманином. При Альмохадах отступника ждала смерть без исключений. Закон не спрашивал, почему ты произнёс исповедание веры, под мечом или по сердцу. Он спрашивал, произнёс ли.

Весной 1165 года на этой площади казнили Иуду ибн Шошана. В тайной общине Феса его звали раввином: не по должности, потому что должности не было, а по знанию. На рынке его знали как Яхью, торговца пергаментом, старика за шестьдесят, который пришёл из Севильи за десять лет до Маймонов. В задней комнате его лавки стоял один светильник и лежал один свиток. По ночам Иуда разворачивал этот свиток и учил Торе тех, кто хотел учиться, а огонь прикрывал ладонью, чтобы свет не падал в щель ставни. Отец Моше считал его своим учителем и ходил к нему каждую неделю. Моше ходил вместе с отцом почти все годы в Фесе.

Иуду выдал сосед, которому Иуда отказал в долге. Стража пришла за ним ночью. Его держали в тюрьме при дворце три недели и требовали одного: повторить при свидетелях исповедание веры. То самое, которое он произнёс пятнадцать лет назад, когда пришёл в Фес. Он отказался. Ему предложили произнести его тихо, в камере, перед одним судьёй. Он отказался. Ему сказали, что тогда его повесят на площади. Он ответил, что знает это. Его повесили в пятницу, после молитвы, при всём городе.

Моше стоял в толпе. Он был мусульманин Муса и должен был стоять там, где стоят все: соседи заметили бы того, кого нет. Отец стоял рядом, Давид — по другую сторону от отца. Они смотрели, как Иуду ввели на помост, как судья прочёл приговор, как Иуда сказал что-то палачу. Моше не расслышал его слов: толпа гудела. Потом Иуду повесили. Это было недолго. Толпа начала расходиться почти сразу: казнь в Фесе была не зрелищем, а предупреждением, и кто его понял, тому незачем было стоять дальше.

Они пошли домой. Отец шёл впереди, ссутулившись сильнее обычного, и не оборачивался. Дома он сел на пол у стены и молчал до вечера. Вечером он сказал Моше одну фразу: «Он мог произнести слова». Моше не понял, упрёк это Иуде или оправдание самих себя. Ночью, так и не уснув, он решил, что отец прав: Иуда мог произнести слова и уйти из Феса. Тогда Моше зажёг один светильник и впервые в жизни написал то, что думал, не для себя, а для других.

Копию этого письма Авраам потом достал из отцовского сундука. Не то письмо, которое ходило по общинам Магриба, переписанное начисто, а первый ночной набросок на обороте аптекарского счёта. Вот из него:

Тот, кто говорит вам: произнёсший слово под мечом — отступник и нет ему прощения, — тот сам не стоял под мечом. Закон не велит человеку умирать за слово, когда слово вырвано силой. Закон велит ему жить и уйти туда, где можно не произносить.

Грех не в том, что вы произнесли. Грех в том, что вы остаётесь там, где вас заставляют произносить, когда есть дорога прочь.

Я пишу это в городе, из которого есть дорога прочь. Я ещё по ней не пошёл. Значит, я пишу это и себе.

Утром отец прочёл набросок до конца, потом перевернул лист и поглядел на аптекарский счёт.

— Аптекаря я узнал с первого взгляда. Если этот лист у кого-нибудь возьмут, к нему придут прежде, чем к тебе.

— Я дам переписать начисто.

— Я сам перепишу. Принеси чистый лист.

Маймон поставил рядом оба листа. До слов о грехе рука шла скоро. Потом отец снял с пера волосок, обмакнул его опять и всё сидел над тем же местом.

— Дашь список сыну старика в пёстрой накидке, — сказал он. — Унесёт к своим, будет читать вслух. А рядом отец сидит, который по темноте за наш порог один выйти боится.

— Я написал: «когда есть дорога прочь». Тому, кому не добраться до моря, я уходить не велю.

— Я про сына тебе говорю. Крепкий малый, через горы пешком пройдёт. Пока мы тут с тобой сидим, он отца в баню ведёт.

Моше подвинул лист обратно к себе. Всю ночь, пока он писал, перед ним был один Иуда на помосте. Теперь ему вспомнилось, как во время чтения тот старик подобрал с полу край накидки сына, чтобы кто-нибудь на неё не наступил. Давид провожал его вечерами, а утром, когда старик шёл за хлебом или в баню, рядом шёл сын.

— Добавь, отец: «Если можешь уйти, уходи. А о том, мог ли уйти твой сосед, тебя никто не спрашивал».

Маймон повторил последнюю фразу вполголоса. Потом подвинулся спиной к окну, заслонив собой лист от улицы, и дописал строку.

С десяти лет, с ночи у Севильских ворот Кордовы, Моше носил вопрос, который так и не задал отцу: почему одни произносят и живут, а другие не произносят и умирают, и кто из них прав? Ибн Сахль, торговец шёлком с их улицы, отказался произнести исповедание и повис на крюке у ворот. Сосед Барух произнёс его, стал Абу Бакром и остался в Кордове. Отец ушёл и теперь сидел перед ним, в городе, откуда вели две дороги к морю. Моше всё ещё хотелось, чтобы Иуда произнёс то, чего от него требовали, и вернулся в свою лавку. Он бы опять сунул им с отцом в руки свиток, велел читать и оборвал на первой же ошибке. После казни Моше не мог без злости вспомнить, как близко от этой лавки стояли городские ворота. Когда Моше ночью дошёл до слов «я ещё по ней не пошёл», перо застряло в бумаге. Ему было двадцать семь, отец уже не мог сам нагнуться к сандалии. Если придётся нести Маймона на себе, как далеко он его унесёт? Он перевернул калям и тупым концом пригладил надорванное место.

Через неделю было уже пять списков для пяти домов тайной общины. Месяц спустя письмо знали во всех ста семьях.

Ибн Муиша, учитель права, который вёл учебный кружок (халку) при Карауине, позвал Моше к себе через две недели после казни. Позвал не домой, ко двору с фонтаном, а в Карауин, к своей колонне, после урока, когда ученики разошлись. Он был один. Он сказал, что судья Феса ведёт дело Иуды дальше. У повешенного были ученики, и ученики эти — такие же тайные иудеи под мусульманскими именами. Суду нужны свидетели, которые знали Яхью-пергаментщика и видели, кто ходил к нему по ночам.

— Я назвал судье тебя, — сказал Ибн Муиша. — Я сказал ему, что знаю человека честного, учёного и безупречного в вере. Что ты жил в том же квартале и наверняка видел, кто ходит в лавку. Через три дня он ждёт тебя в суде.

Ибн Муиша наклонил голову, как всегда, когда ждал ответа. Моше не ответил ему.

— Ты не обязан никого обвинять, — сказал Ибн Муиша. — Только сказать, кого видел. Для тебя это честь: тебя назовут при дворе. Для меня тоже: это я тебя назвал.

Моше поблагодарил его за честь. В ту минуту он понял, что Ибн Муиша не подозревает его. Ибн Муиша любил его, хотел ему добра и этим добром убивал его вернее, чем доносом. Через три дня Муса ибн Маймун должен был сесть перед судьёй и назвать тех, кто ходил к Иуде ибн Шошану. Он знал эти имена. Среди них было имя его отца. Или не назвать никого — и тогда его спросили бы, почему он никого не назвал. А Ибн Муиша впервые за пять лет задал бы вопрос, которого ни разу не задавал: кто ты?

Судья дал ему три дня, чтобы явиться в суд.



В то утро, до урока, Ибн Муиша был у судьи и вышел от него довольный. Судья выслушал его, записал имя «Муса ибн Маймун, андалусец, переписчик книг» и сказал, что честный свидетель из учёных стоит десяти с рынка. Ибн Муиша думал и о том, чего судье не сказал. Того, кого суд позвал свидетелем, суд не станет спрашивать о его собственной вере. Муса отве-

тит под присягой, его ответ запишут, и сам он перестанет перебирать про себя его ответы у фонтана. Вечером, отпустив Мусу от колонны, он шёл домой через площадь перед Карауином. Виселицу давно разобрали. На камнях, где стояли её столбы, остались две ямки, и водонос обходил их стороной.

Две недели назад, в пятницу, Ибн Муиша стоял на этой площади вместе со всеми. Он видел, как старик в рваном халате что-то сказал палачу, и не расслышал что. Старик не захотел произнести слова, которые в Фесе произносит каждый ребёнок. Ибн Муиша не понимал этого и не хотел понимать. По закону отступника три дня призывают к покаянию; старика призывали три недели, а старик выбрал верёвку.

Дома он велел слуге приготовить вечер на третий день: лучшие финики, гранаты, кувшин воды с розовым листом. Муса давно не сидел у его фонтана, но в тот вечер Ибн Муиша сам приведёт его из суда. Над юношей уже будет имя, которое знает судья. Ибн Муиша представил, как скажет ему об этом у фонтана, при всех, и как юноша опустит глаза. Он знал, что Муса не любит, когда его хвалят при людях. Он решил похвалить его коротко.

На третий день Муса в суд не пришёл. Ибн Муиша с утра сидел у стены в судейском дворе, прямо, в белом, и наклонял голову к каждому, кто входил. Пристав, которого судья послал на кайруанский берег, вернулся к полудню. Дом пустой, сказал он, ставни заложены. Соседи говорят, что Маймун аль-Куртуби с сыновьями уехал позапрошлой ночью. Куда, никто не знает: старик говорил про родню в Тлемсене. Судья посмотрел на Ибн Муишу так, как смотрят на купца, продавшего гнилое зерно. Ибн Муиша выдержал этот взгляд. Он сказал, что юношу, вероятно, напугала казнь и что андалусцы пугливы. Он говорил это ровным голосом и слышал себя со стороны.

Вечером гости собрались у фонтана. Андалусца он обещал им ещё накануне, и кто-то спросил, где тот. Ибн Муиша ответил, что Муса уехал по делам отца. Он сам удивился, как легко это сказал. Гости говорили о грамматике, о новом налоге, о пергаментщике. Один сказал, что у пергаментщика были ученики и что теперь их всех найдут. Ибн Муиша смотрел на воду в каменной чаше. У соседней подушки оставили блюдце для финиковых косточек. Муса обыкновенно складывал их у себя перед коленом, пока говорил, а спохватившись, собирал все разом и ссыпал в блюдце, стараясь не перебить собеседника. Ибн Муиша сам отбирал для него финики помягче. Теперь у той подушки сидел человек, который знал, что всех учеников пергаментщика найдут, и аккуратно клал косточки куда следовало.

Он не сказал себе, что Муса бежал от него. Он сказал себе другое: если юноша бежал, значит, ему было что скрывать от суда. Если ему было что скрывать, то он, Ибн Муиша, год кормил финиками того, кого закон велит казнить, и сам назвал его судье честным человеком. В суде с него не спросили бы за финики. Спросили бы разве, часто ли Муса бывал в этом доме и при ком говорил о своей вере. На первый вопрос Ибн Муиша ответил бы без запинки. Для второго надо было вспоминать целые вечера. Ему вдруг расхотелось, чтобы хоть один из сидящих здесь помог ему вспомнить. Он попробовал отпить и расплескал немного воды на халат.

Когда гости ушли, он позвал слугу и велел ему впредь не открывать по вечерам калитку к фонтану. Слуга спросил, до какого дня. Ибн Муиша не ответил и пошёл в дом.

Маймоны вышли из Феса на вторую ночь после разговора у колонны. Отец решил не ждать третьей: в третью ночь, накануне суда, стража уже стережёт дороги. Решал он сидя на полу у ящика с книгами, положив ладонь на крышку. Из Феса к морю вели два пути, и отец назвал оба вполголоса, как называют больному два лекарства. На восток — Тлемсен, большой торговый город, две недели ровной дорогой, но кораблей на восток оттуда не бывает. На север — Сеута, порт напротив испанского берега, пять дней пешком через горы Риф, и оттуда корабли уходят в Египет. «Пойдём на север, — сказал отец. — А соседям я скажу, что у нас

родня в Тлемсене». До третьего дня, пока Муса не придёт в суд, их никто не хватится. Отец назвал дороги, не задумываясь, и Моше понял, что тот считал их давно, может быть, все годы в Фесе.

Они шли втроём: отец, Моше и Давид, и с ними мул с ящиком книг. Это был тот же ящик, что вышел с ними из Кордовы семнадцать лет назад, только книг в нём прибавилось. Сверху лежали шестнадцать тетрадей Галена, переписанных Моше в книгохранилище при мечети Карауин. Шли они ночью. Днём отсыпались в кустах или в пастушьих хижинах, где за дирхем не спрашивали имён. На третий день кончилась вода. На четвёртый Давид сбил ноги в кровь и дальше ехал на муле, обхватив ящик, и ругался вполголоса то по-арабски, то по-еврейски, пока отец не велел ему молчать. На пятый, к вечеру, они увидели с перевала море и Сеуту: белый город на скале, выступающей в пролив. Они спустились в город утром шестого дня, когда открыли ворота. Отец пошёл в порт искать корабль. Моше и Давид остались с мулом у таможенного двора, где досматривали всех, кто входил в порт с товаром.

И там, у таможенного двора, Моше увидел всадников. Их было четверо, из Феса, в чёрном, какое носила дворцовая стража. Они гнались не за Маймонами, а за откупщиком — сборщиком податей, бежавшим из Феса с казёнными деньгами. Но у них был список людей, которых надлежало задержать, если встретятся. Начальник таможни читал список при них вслух. Моше стоял в десяти шагах и услышал своё имя: Муса ибн Маймун, не явившийся к судье.

Начальник таможни поднял голову от списка и посмотрел на двух молодых людей с мулом. Моше узнал его не сразу: грузный человек с медной печатью на шнурке поверх халата. Потом узнал — по растерянному лицу, которое помнил в свете фонаря. Это был Абу Бакр, их сосед из Кордовы, тот самый Барух, который за шесть дней до их ухода принял ислам в большой мечети, а в ночь ухода прибежал к ним с фонарём и отдал своего осла. Моше было тогда десять лет. Он не знал, что Абу Бакр живёт в Сеуте и служит здесь начальником таможни.

Моше держал руку на ящике и чувствовал, как дрожат пальцы. Он не убрал руку, чтобы Давид не заметил, и ждал, пока пальцы успокоятся. Абу Бакр смотрел на него, и Моше показалось, что долго. Потом опустил глаза в список, прочёл его до конца и свернул. Он сказал всадникам, что в Сеуте таких нет: таможня проверяет всех, кто входит в порт, и он бы знал. Всадники поели в таможенном дворе, напоили лошадей и к вечеру уехали на восток, по следу откупщика. Когда они уехали, Абу Бакр подошёл к Моше и спросил его, где отец.

Отец нашёл корабль в тот же день: генуэзское судно до Акко, порта Святой земли, отплытие через два дня. Абу Бакр выправил им таможенные бумаги на имя трёх купцов из Сеуты, торгующих книгами. Это было почти правдой: в ящике лежали одни книги. Денег Абу Бакр не взял. Отец спросил его, почему он это делает. Абу Бакр ответил, что в Кордове судья Маймон сказал ему «да воздастся тебе», и он семнадцать лет не знал, за что. Теперь знает.

После отплытия Маймоны его больше не видели.



В ночь после того, как всадники из Феса уехали, Абу Бакр не спал. Он сидел на плоской крыше таможенного дома над портом, перебирал чётки левой рукой, а в правой держал перо. На коленях у него лежала доска с бумагой, где уже стояло: «Трое купцов из Сеуты, торгующие книгами, с ними мул и ящик». Имён он ещё не вписал. Внизу, у причала, качались огни гену-

эзского судна. На его борт послезавтра поднимутся старик, двое молодых и ящик, который они везли через горы.

Чётки ему подарил судья Сеуты в год, когда Абу Бакра поставили начальником таможни. С тех пор он ни разу не сбился со счёта. В эту ночь он сбился трижды. На тридцать третьей бусине вместо «Аллах велик» ему в голову приходило другое, старое, чего он не произносил с Кордовы: «Слушай, Израиль». Так начинается молитва, которую еврей читает утром и вечером и, если успеет, перед смертью. Абу Бакр останавливался и начинал сначала.

В Кордове, когда Альмохады потребовали от евреев произнести исповедание веры, Барух думал три ночи. Утром четвёртого дня он надел чистое, пошёл в большую мечеть и вышел оттуда Абу Бакром. Жена плакала, а потом перестала. Через шесть дней повесили Ибн Сахля, который исповедания не произнёс. В ту же ночь Абу Бакр отдал своего осла судье Маймону, уходившему из города, и унёс домой его «да воздастся тебе», как долг, срока которого не знал.

После этого евреи Кордовы с ним не здоровались, а мусульмане ему не верили. В Сеуте мусульмане считали его хорошим мусульманином, потому что он не брал лишнего. Евреи Сеуты считали его вероотступником и, проходя мимо таможни, смотрели в сторону. Он молился пять раз в день и ничего при этом не чувствовал. По субботам он не зажигал огня и говорил жене, что болит голова. Он боялся не ада и не суда. Он боялся, что он никто: не мусульманин и не иудей, и над его могилой не скажет ни слова ни имам, ни раввин.

Днём он читал всадникам список, как читал сотни таких списков, и на имени «Муса ибн Маймун» поднял голову. Старший из двух молодых у таможенного двора держал ладонь на ящике так же, как семнадцать лет назад держал её на своём ящике судья Маймон. Абу Бакр узнал сына судьи раньше, чем успел испугаться. Три ночи он думал перед мечетью, а здесь не думал ни минуты, и страха в этом поступке не было. Страх пришёл вечером, когда всадники уехали.

Теперь он сидел на крыше и думал, что будет, если всадники вернутся. Тогда его повесят на воротах таможни, как Ибн Сахля в Кордове. Он вписал в бумагу три имени — чужие, выдуманные, из тех, что встречаются в каждом порту. Потом снял со шнурка печать и приложил её к листу. Он подул на чернила и подождал, пока они высохнут.

Над портом пели призыв к утренней молитве. Абу Бакр спустился с крыши, вымыл руки и лицо из кувшина и пошёл в мечеть у ворот. Он встал в задний ряд и наклонялся вместе со всеми. Губы его шевелились, и рядом никто не слышал, какие слова они произносят.

В Фустате на третий день, когда Зута пришёл за ответом, Моше ждал его во дворе, а не в кабинете. Во дворе стояла Сарра, и на скамье сидели два больных: водонос с нарывом на шее и старуха с больными глазами. Моше сказал Зуте при них:

— Я не продам дом. Я не буду судьёй при тебе. Долги я отдам сам: не за год, так за два. Если меняла пойдёт к мусульманскому судье, я пойду с ним. Я покажу судье, сколько уже отдал и сколько зарабатываю в месяц. Должнику, который платит, он даст срок. Я знаю закон о должниках не хуже тебя.

— А если я расскажу про Фес? — спросил Зута тихо.

Моше к нему не наклонился.

— Расскажи, — сказал он так, чтобы слышали водонос и старуха. — Расскажи людям из Магриба, что сын судьи Маймона жил в Фесе под именем Муса. Они это знают. Половина из них жила там же и под такими же именами. Спроси их, кто написал письмо, которое они передавали из рук в руки в тот год, когда повесили пергаментщика. Они назовут тебе имя. И тогда подумай, кого община захочет слушать: тебя или меня.

Зута постоял, глядя на него. Потом сказал писцу, что писать нечего, и ушёл.

— Твоя очередь, мать, — сказала Сарра старухе. Весь разговор она простояла у колодца и теперь сама подвела старуху к Моше.

Угрозы Зута не исполнил. В ту зиму никто в квартале не заговорил о Фесе, и нагид больше не приходил. Моше понимал, чего тот ждёт: дня, когда платить будет нечем и торговец тканями сам придёт к нагиду. А в тот вечер Моше достал тетрадь больных и на задней странице, под двумя именами, написал третье, по-еврейски, как писал там все имена: Иуда бен Шошан, Фес, 1165. И четвёртое, без даты, потому что даты не знал: Абу Бакр, Сеута.

Глава 5. Шторм

Фустат. Декабрь 1177 года



К концу четвёртого месяца после горячки Моше отдал торговцу тканями все сто двадцать динаров, которые тот копил дочери на приданое. Последние тридцать он принёс за неделю до свадьбы. Торговец пересчитал монеты, завязал их в платок и позвал Моше на свадьбу. Её играли днём, при открытых воротах, и музыканты стояли прямо на улице. Моше сидел в углу. К третьему блюду он уже не видел невесты: глаза сами переходили с гостя на гостя, и он считал тех, кто дал деньги Давиду. Насчитал всех восьмерых: в еврейском квартале Фустата на такую свадьбу приходили все. Свою свадьбу в Фесе он играл ночью, при закрытых ставнях, и гостей там было ровно десять — столько, сколько требует закон. Он ушёл рано.

Вечером он подвёл счёт. На чистом листе рабочей тетради он записал:

Торговцу тканями отдано всё. В Фустате осталось триста двадцать динаров прежнего долга. Ещё двадцать я взял у Ибн Шаприта.

Склад Давида продала Сарра. Она разобрала остатки перца и кораллов и три дня торговалась на рынке. Пустой склад потом ещё неделю пах перцем, как пахла одежда Давида, когда он возвращался из Адена. Купец из Александрии заказал список комментария к Мишне, и Моше переписывал свою книгу сам, по ночам, целый месяц.

Двадцать в долг дал аптекарь Ибн Шаприт. Он полез за деньгами на полку, снял банку, открыл и вынул горсть сушёного тамаринда. Засмеялся над собой и снял соседнюю. Динары нашлись в третьей банке, под слоем сенны, слабительного листа. Ибн Шаприт отсчитал двадцать на прилавок.

— Не думай, что это из жалости, — сказал он. — Я вижу, сколько больных стоит у Малых ворот. Я вкладываю, Моше.

Кредиторы молчали. Шесть недель, которые Зута отмерил ему на уплату до свадьбы, вышли. Меняла, который осенью передавал через Зуту, что пойдёт к мусульманскому судье, к судье так и не пошёл.

Сам Моше окреп. Сердце билось ровно, он спал по пять часов, ел мясо дважды в неделю и мог стоять над больным час, не держась за стену. Он снова писал по ночам. Комментарий к Мишне был закончен; он взялся за новую книгу — свод всего еврейского закона, расписанный по порядку, без споров и ссылок. Любой человек должен был найти в этом своде, что ему делать, не роясь в Талмуде — многотомных спорах мудрецов, где ответ надо искать неделю. Он задумал этот свод ещё при Давиде, написал первые листы и отложил их в сундук. После горячки он достал их и в ту же ночь сел за работу. Горячка не возвращалась. Шторм возвращался почти каждую ночь. В тот вечер Моше задул лампу, лёг и, едва закрыв глаза, опять увидел отца в трёх шагах. Через палубу шла вода, Моше держался за канат обеими руками.

Из Сеуты Моше, отец и Давид отплыли в начале апреля 1165 года на генуэзском судне «Санта-Кроче». Судно везло в Акко паломников, сукно и оружие для крестоносцев — франкских рыцарей, которые тогда владели Святой землёй.

Абу Бакр, их кордовский сосед, ставший в Сеуте начальником таможни, провёл их на борт по бумагам, которые выправил сам: три книжных торговца, мул, ящик с книгами. Для капитана они были мусульманами и везли книги на продажу. Им дали место на палубе, под навесом, среди паломников из Прованса, не понимавших ни слова по-арабски. С паломниками не о чем было разговаривать, а значит, не о чем лгать. Плыть предстояло месяц: вдоль африканского берега, от порта к порту за водой, а потом через открытое море к Криту.

Отец читал. Высокий, он сидел под навесом согнувшись, но сутулился и на берегу: сорок лет над книгами. Левую руку он держал на крышке ящика, как держат руку на плече спящего ребёнка, и снимал её, только чтобы перевернуть лист. Ветер задирал ему бороду, подстриженную клином, и он приглаживал её, не отрывая глаз от строки. Давид торговал. В Тунисе он купил два мешка сушёных фиг и продавал их паломникам на пальцах: показывал фигу, потом столько пальцев, сколько хотел медяков, и смеялся глазами, когда провансалец показывал в ответ меньше. Он выменял у генуэзского матроса нож, и халат его пропах смолой, которой мазали канаты. Моше смотрел на воду.

Между Критом и Кипром ветер упал, и парус обвис на рее. Вода с утра стала гладкой и тяжёлой, как масло в кувшине. Солнце стояло белое, без лучей. Отец закрыл книгу раньше обычного и сел на ящик. Ночью их настиг шторм. Об этой ночи Моше оставил в сундуке один лист.

Поднялся ветер в четвёртом часу ночи, и к рассвету море стояло выше мачты. Корабль клали на бок, и мы держались за канаты, и вода шла через палубу так, что между волнами мы стояли в ней по пояс. Капитан велел рубить мачту. Её срубили. Паломники молились на своём языке, матросы — на своём, и я тоже молился, но не словами, а так: я считал удары волн и давал обет. Я обещал, что если корабль дойдёт, я буду поститься в этот день каждый год, пока жив: не буду ни есть, ни пить, ни работать, а только сидеть и помнить.

Корабль дошёл. Я держу обет с того дня и буду держать до смерти.

Каждый год в десятый день ияра Сарра ставила Моше к вечеру бульон. До захода солнца он к нему не притрагивался. Больным, если приходили, она сама называла день, когда можно застать врача.

На листе про отца не было ни слова. Всякий раз, когда между волнами удавалось вздохнуть, Моше видел его в трёх шагах от себя. Маймон держался за канат и следил за верёвкой, которой к мачте привязали ящик с книгами.

Когда мачту срубили, ящик оторвался и поехал по палубе к борту. Отец отпустил канат и пошёл за ящиком.

Моше закричал отцу, чтобы тот вернулся. Он хотел пойти следом, но руки не разжались на канате. Отец не услышал или не захотел услышать. Он дошёл до ящика, лёг на него всем телом, и следующая волна накрыла их обоих. Когда вода сошла, отец лежал у борта, ящик лежал рядом. Давид уже бросил свой канат и тащил обоих обратно к середине палубы. Он ругал по-арабски море, а по-еврейски — ящик, который всё норовил уехать к борту, и не замолчал, пока не дотащил.

К утру ветер ушёл на восток. Море лежало серое и плоское, будто его выгладили, и по нему плыли щепки от мачты. Отец первым делом открыл ящик. Тетради с выписками из Галена промокли насквозь, но буквы не расплылись. Ещё в Фесе Маймон сам покупал ему для чернил дубовые орешки и купорос. Отец разложил тетради сушиться на палубе и сказал Моше:

— Вот почему я велел тебе писать этими чернилами.

Моше подал ему тетрадь, слипшуюся у корешка. У отца так ходили руки, что взяться за мокрый лист ногтем он не мог.

— Я подержу, — сказал Моше.

— А переворачивать кто будет? У тебя руки сухие. С краю начни.

Отец держал тетрадь обеими руками. Давид сидел поодаль, босой, и вынимал из пятки длинную щепку от срубленной мачты.

Позднее Моше иной раз казалось, что побеги он следом за отцом, все трое очутились бы у борта и некому было бы ухватиться за канат. Когда он думал об этом у себя в постели, выходило даже, что кто-то должен был остаться на месте и что именно он, старший, остался. Между тем он очень хорошо помнил, как пытался разжать один палец. Остальные он не трогал, хотел для начала испытать самый маленький. Верёвка набухла, больно вдавилась в сгиб, и палец послушался, а двинуть вслед за ним другим Моше уже не решился. Про это он мог бы рассказать Давиду. С отцом было труднее. Отец слушал очень внимательно, и, начни Моше с того, что кто-то должен был остаться у каната, он дал бы договорить и согласился бы с ним. Именно этого согласия Моше потом много ночей добивался от него в уме и сердился, едва его добившись. С Давидом всё произошло бы скорее. «Канат-то у тебя в руках и остался? — спросил бы брат. — Куда же ты его дел, пока я один отца с ящиком тащил?» А куда он дел канат, Моше уже не помнил.

Помнил он и спину Давида, который ждал, пока схлынет вода. Как только из-под пены показалось отцовское плечо, он подхватил старика поперёк живота. Так грубо его дёрнул, что с Маймона слетела сандалия. Моше крикнул брату что-то сердитое. Давид не обернулся. Моше видел издали, как брат положил отца на бок. Маймон закашлялся, Давид придержал ему голову ладонью, чтобы при качке отцовская щека не билась о доски. Про сандалию Моше мог бы рассказать уже тогда, у брошенной мачты. А эту ладонь под щекой он вспомнил, только когда Маймон протянул ему мокрую тетрадь. Утром, на палубе, отец отдал Моше сухой край тетради, себе взял мокрый. И опять показалось, что ему с его старыми пальцами следовало дать как раз этот сухой край. Отец уже держал лист и ждал. Лишь присев рядом с ним, Моше разглядел, что бумага в середине разошлась по сгибу и что отец подставил снизу ладонь, точно дощечку. Давид у борта не слышал его окрика, отец на палубе расслышал бы и потянулся бы к нему за сухим краем. Мокрый тогда распался бы у них на глазах. Моше приподнял сухой уголок. Давид вытащил щепку и искал глазами, обо что вытереть нож. Моше подставил ему край своего халата.



Корабль дошёл до Акко в середине мая, без мачты, под парусом, который матросы поставили на её обломке. Акко был главным портом Иерусалимского королевства — христианского государства, которое крестоносцы основали в Святой земле почти за семьдесят лет до того.

На пристани франкский писец в кожаном фартуке спрашивал у каждого приезжего имя и записывал, сколько взять пошлины. Отец подошёл к его столу, распрямился, насколько позволяла спина, и сказал: Маймон, сын Йосефа, судья из Кордовы. Своим именем он назвал себя впервые за семнадцать лет. Писец, не поднимая головы, вывел что-то латынью и назвал сумму. Отец заплатил и ещё постоял у стола, будто ждал, что имя у него спросят снова.

В Акко они прожили до осени. Шестого хешвана, в четверг, отец с сыновьями поднялся в Иерусалим. О том, что город уже близко, Давид догадался по мальчишке, который обогнал их на дороге с доской на голове. На доске теснились ещё сырые круглые лепёшки. У одной лепёшки край уже свешивался с доски. Давид прибавил шагу.

— Ты хоть нам оставь! — крикнул вслед Маймон.

— Чего оставить? — Давид оглянулся.

— Горячего хлеба. Я-то думал, тебе Иерусалим показать.

— Я хотел узнать, далеко ли ещё.

— Твоя мать тоже уходила спросить дорогу, а возвращалась с горячей лепёшкой.

Моше отпустил отцовский локоть. На обочине валялась половина жернова. Маймон присел на неё, вскинул лицо к свету и спросил, туда ли они смотрят. По склону поднималась стена. Сразу за нею кто-то перекидывал через жердь мокрые красные полотнища. Одно уже раздул ветер, а остальные липли к жерди. Вениамин из Туделы, еврейский путешественник, побывавший в Иерусалиме в те годы, записал, что за право красить ткани в городе здешние евреи ежегодно платили королю. Другим красильщикам держать здесь мастерскую не позволялось. Давид стал считать, сколько ткани развесили за одной стеной, и тут заметил, что отец смотрит в другую сторону. Где стоял Храм, отец мог показать на любой странице с описанием его дворов. Здесь он сам хотел знать, где именно. Прохожий с охапкой прутьев охотно поставил свою ношу на камень и некоторое время тыкал пальцем мимо плеча Маймона. Давид догадался присесть. Из-за его плеча отец наконец разглядел, куда показывал прохожий. Маймон поднялся с камня и сам взял Давида под руку.

В доме, где оставили сумы, хозяйка спросила, целиком ли варить чечевицу или растереть для старика. Давид сказал — целиком. Маймон хотел знать, до которого часу она держит двери открытыми.

— А вы ключ возьмите. Кто-нибудь из вас его донесёт?

Оба сына протянули руки. Хозяйка отдала ключ отцу. Он завернул его в полотенце и заткнул за пояс.

Шли рядом, когда позволяла улица. Где становилось тесно, отец брался за пояс Давида, и Моше шёл сзади. С городской кровли свешивалась верёвка, на конце её ходила из стороны в сторону пустая корзина; люди, привыкшие ходить мимо, огибали её, даже когда она была наверху. Кто-то крикнул сверху, корзина упала у самых ног Давида. Девочка выбежала из дверей, положила в неё хлеб, и путь освободился. Отец тихонько повторял первые слова молитвы, которые произносил в Кордове, повернувшись в эту сторону. В последний раз отцу пришлось посторониться, чтобы женщина вынесла кувшин с грязной водой. Он пропустил её и остался стоять.

Давид высвободил отцовские пальцы из-за пояса и тихо сказал брату, что к обеду вернётся. Отец уже молился. Моше стоял рядом и ждал одного стиха, у которого дома они всегда расходились. Маймон тянул последнее слово, пока хватало воздуха; Моше обыкновенно начинал следующий стих у него за спиной и терпеливо выслушивал упрёк за спешку. В Иерусалиме отец прошёл это место одним дыханием и подождал. Моше понадобилось мгновение, чтобы понять, чего он ждёт. Несколько строк они прочли попеременно. Потом Маймон умолк, и следующий стих Моше прочёл один.

Давид привёл погонщика с серой мулицей и попросил показать отцу седло.

— Теперь мы ещё в Хеврон пойдём, — сказал Маймон.

— Так я ему Хеврон и назвал.

— А обратно?

— И обратно. В Акко тебя доставит. Отец, он с утра натощак, я его от лавки увёл. Ты хоть присядь, посмотри, как тебе будет.

Погонщик присел укоротить стремя. Маймон ощупал пояс. Давид полез было искать ключ в пыли, но отец уже вынул его и помахал им над головой у сына.

— Я есть хочу, — сказал он. — Ты хлеб-то достал или только поглядеть бегал?

Уже на закате хозяйка долила в чечевицу воды и потянулась за пестиком. Маймон сам придвинул к ней свою миску. Давид улыбнулся, но тут ему вручили пустой кувшин, а отцу объяснили, какую из двух дверей запирает их ключ и как поднять задвижку у другой. Когда стало темнеть, собиравшийся ещё раз выйти Моше обнаружил на своём плече тяжёлую отцовскую голову. Он так и остался на скамье. В Хеврон они пришли девятого хешвана. В тетради он записал:

> Шестого хешвана я вошёл в Иерусалим. Девятого — в Хеврон, к гробнице праотцев Авраама, Исаака и Иакова. Эти дни я постановил считать праздниками для себя и для потомков моих.

Тетрадь с этой записью потом лежала в сундуке, под листом о буре.

Через неделю после возвращения в Акко Маймон слёг. Ноги его отекли. Он подолгу спал, а в часы молитвы просыпался и просил помочь ему сесть. В Малаге Маймон лечил старуху. Она пошла на поправку, когда ей дали выспаться, открыли ставни и стали носить бульон. С отцом Моше делал всё то же. Вечером брал его за запястье и записывал счёт. Чтобы сосчитать столько же ударов, сколько накануне, ему каждый раз приходилось дольше сидеть у постели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.